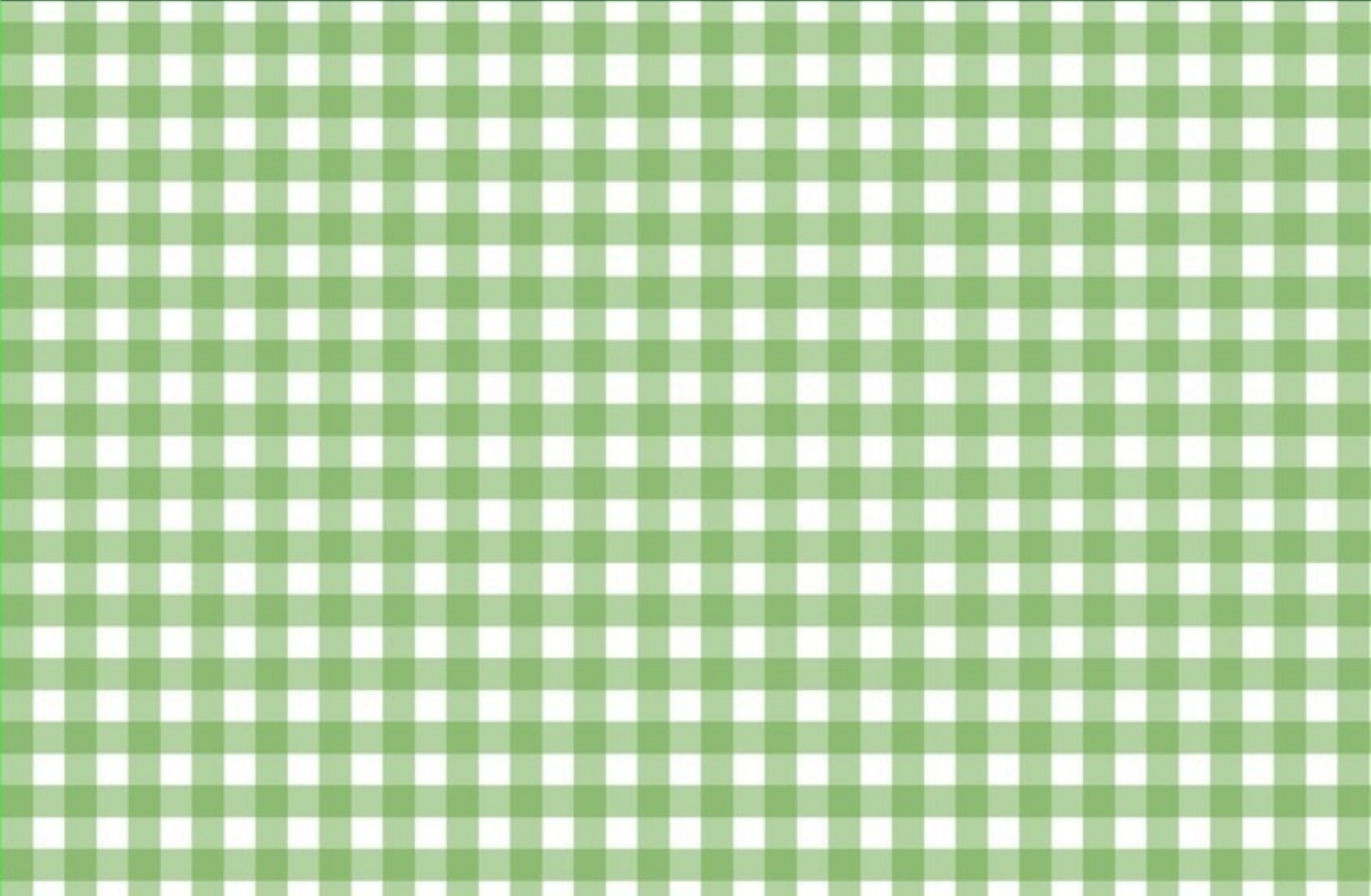


Олег Глушкин

*Королевская
гора и восемь
рассказов*



Олег Глушкин

**Королевская гора
и восемь рассказов**

«Издательские решения»

Глушкин О.

Королевская гора и восемь рассказов / О. Глушкин —
«Издательские решения»,

ISBN 978-5-44-831054-6

Жизнь представляет каждому свою волшебную гору, можно просто созерцать ее, а можно и должно одолеть и добраться до вершины. Об этом роман «Королевская гора», охватывающий и годы тоталитаризма, и начало нового века, с уходом в далекое прошлое. На протяжении всего романа рушатся попытки постановки пьесы об основании Кёнигсберга, не может найти входа актерский талант. В рассказах также герой часто терпит поражение, но остается честным и не отступает с избранного пути.

ISBN 978-5-44-831054-6

© Глушкин О.
© Издательские решения

Содержание

Королевская гора	6
1	6
2	21
3	35
Конец ознакомительного фрагмента.	46

Королевская гора и восемь рассказов

Олег Глушкин

© Олег Глушкин, 2016

ISBN 978-5-4483-1054-6

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Королевская гора

1

Сцена, сказочный и призрачный мир театра долго оставались неисполненной мечтой Аврутина. Но если внимательно посмотреть на его жизнь, то она представится не иначе как сменой ролей далеко не первого плана. И не просился он на эти роли, не искал их, но театр настигал его повсюду. Когда эта бацилла жажды актёрства вселилась в него, трудно сказать.

Он плохо помнит, как читал стихи в госпитале. После войны в этом госпитале долечивали тяжело раненых. Об этом часто вспоминала его мать. Рассказывала, как он вставал на стул, как без запинки выкрикивал: «казак на запад держит путь, казак не хочет отдохнуть». Ты был такой кукольный мальчик, необыкновенно красивый, с золотистыми кудрями, в матросском костюмчике, который я тебе сшила. Он не помнит этих подробностей. Остался приторный запах эфира, тянущиеся к нему руки раненых. У всех где-то были дети. Эта ласка, предназначенная им, доставалась маленькому Аврутину.

У него было странное имя Вилор, он узнал, что это означает Владимир Ильич Ленин Организатор Революции. Оказывается, так звали брата матери, погибшего на войне, в память о нем и дали это имя. В детстве он стеснялся имени, потому что воспитательница в детском саду сказала, что это цыганское имя. Много позже, когда начали клеймить Ленина, опять стало стыдно носить это имя. Но в детстве были и другие понятия и организатор театральной студии в школе, известный в прошлом артист, напротив, говорил, что это очень театральное имя. В театральные кружки долго не допускали. Мал ростом, картавит. Но готов был делать все – и убирать сцену, и таскать реквизит, и занавес поднимать. И вот случилось чудо – мальчик, игравший Хлестакова, уехал в другой город. Аврутин знал эту роль наизусть. Ему достали ботинки с толстой подошвой, чтобы он был одного роста с девочкой, игравшей роль дочки городничего. Это была самая красивая девочка, во всей школе не было ее красивее, у нее уже обозначились груди, и глаза были такие влажные и призывные. И ему досталось счастье – по ходу спектакля касаться ее руки, ухаживать и даже обнимать ее. Хлестаков вошел в его кровь и плоть. Он часто ловил себя на том, что невольно рассказывал о себе небылицы, в которых предстал личностью героической и возвышенной.

В тот год в школе после очередного медосмотра было решено всех остричь наголо. Он совершенно напрасно рассказал об этом матери. Конечно, и сам он расставаться со своими кудрями не хотел, но мать возмутилась и восприняла все слишком нервно. Она примчалась в школу, когда парикмахер уже справился с половиной класса. Аврутин не слышал, что она говорила директору, как сумела того убедить. Во всяком случае, золотисто рыжие кудри сына остались нетронутыми. На следующий день Аврутин осознал, что значит быть не таким как все. Даже дружески настроенные к нему одноклассники старались толкнуть, ущипнуть, унижить. После уроков, он узнал об этом от девочки, которая играла дочь городничего, ему хотели устроить темную, затащить на пустырь, начинающийся за школьным двором и там избить. Ему удалось выскользнуть из класса раньше других и убежать домой. Дома он дал волю слезам, мать тщетно пыталась его успокоить, мать не понимала, что стала виновницей его слез. Пусть попробуют обидеть тебя! – говорила она. – Пусть попробуют. У тебя такие чудесные волосы. Они самые чистые, они самые красивые! Они так идут тебе.

На следующий день он опоздал на урок, потому что зашел перед школой в парикмахерскую и попросил состричь эти кудри. Теперь он стал как все. Объяснить матери, почему он это сделал было невозможно. Почему ты должен быть таким как все? – упрекала она. – Ну и что с того, что ты выделялся! Ты лучше и умнее других!

Никогда в школе он не стремился выделиться, учился на отлично только потому, что этого страстно хотела мать. Постепенно ее мечты о театральной карьере сына стали и его мечтами. Он верил, что жизнь не школа, где всех стригут под одну гребенку. Ему хотелось поскорее окончить учебу и стать не только артистом, но и режиссером. Мать принесла домой книгу о театре, в которой воздавалась слава не артистам, а режиссерам...

Ещё полюбил он шахматы, здесь на черно-белых квадратах тоже разворачивалось свое театральное действие, можно было посылать фигуры на любые поля, устраивать ловушки, превращать пешек в ферзи. Аврутин по самоучителю запоминал дебюты, эти дебюты, где все разворачивалось по готовому сценарию, зависели только от него, какой выберет, такая и будет игра. В жизни это было далеко не так. В жизни не было готового сценария. Нельзя было угадать, как развернется действие. Один час, одно мгновение могло обрушить все возвышенные желания.

Конкурс в театральный институт был пятьдесят человек на место. Кривая ехидная улыбка экзаменатора и его вопросы загоняли в тупик претендентов. Аврутин готовился тщательно. Репетировал с мамашей все монологи. Она была в восторге, она была уверена в таланте своего сына. Все свои силы вложила в сына. Он был ее самой большой надеждой. Он был оправданием её не сложившейся жизни. Отца Аврутин не помнил. Отца увели ночью в сорок восьмом году. В эту ночь годовалый Вилор крепко спал. Жизнь без отца стала нелегкой. Мать вынуждена была работать на двух работах. Она была готова голодать, отдавала ему лучшее и большее из той пищи, что сумела добыть. Все тогда жили не сладко. Мать жила ради него и потом жила его жизнью.

Она так настойчиво пыталась добиться для него золотой медали, что когда ему поставили четверку за сочинение, заставила учительницу русского языка перепроверить и исправить. Аврутин помнит, как мать буквально влетела в школу, было такое впечатление, что у нее выросли крылья, которыми она хочет отбиваться и закрыть своего птенца. А ему хотелось сквозь пол провалиться от стыда. Зачем она унижалась? Хотела, чтобы в театральный институт он поступал только как медалист. Добилась своего, четверку исправили на пятерку. Сообщила об этом радостно. Благодарности от сына не дождалась. Даже стал упрекать ее, зачем это сделала, это не честно. Что ты понимаешь, возмутилась она, честно, не честно. У тебя талант, талант от природы. Но всякий талант требует защиты. Надо уметь заявить о себе, нужны не малые усилия на пути к сцене.

Правда, никакие усилия матери не помогли получить по немецкому языку даже четверку. Немецкий в те годы никто не хотел учить, преподавательницу немецкого звали «немкой» и всячески старались унижить старушку, ведущую свой род из тех немцев, которые ещё при Петре I начали честно служить России. Все заслоняла война, которая закончилась совсем недавно. Ведь немцы принесли столько страданий. За нелюбовь к немецкому языку пришлось расплачиваться. Сдавать экзамены наравне со всеми.

Но даже, если бы была медаль, надо было пройти творческий конкурс. Большинство поступающих носили известные фамилии, это были дети и внуки знаменитых артистов. Говорили, что только они смогут пройти через сито конкурса. Но вопреки всем страхам, творческий конкурс Аврутин прошел легко. Изобразил Хлестакова. Так страстно он декламировал: Сто тысяч курьеров, сто тысяч курьеров... Я с Пушкиным на дружеской ноге... Так эффектно взмахивал руками, что одна дама, сидящая в комиссии, даже заплотировала.

Потом было собеседование в кадрах. Анкетные данные были в порядке. Мать достала, вернее, купила истертую бумажку, на которой сообщалось, что Анатолий Аврутин погиб в результате несчастного случая. Какой несчастный случай? – пытался узнать Аврутин, – Ты же говорила, что виной всему какая-то вакцина. Что отца оклеветали, сделали чуть ли не вредителем. Мать замахала руками. Забудь, так надо, объяснила она, будешь заполнять анкету, так и напишешь – несчастный случай.

Она была уверена, что ее Вилор покорит всех своим талантом. Только надо верить в себя, в своё предназначение, поучала мать. Надо утром смотреть в зеркало и повторять: я самый талантливый. Завет матери он старался выполнять. Но вот другие таких слов о нем не произносили. На экзамене по литературе знаменитый сценарист с кривой ухмылкой на лице упрекал в незнании Гауптмана, о пьесе «Ткачи» Аврутин понятия не имел. Сценарист ухмылялся, он не понимал, что хоронит мечты матери. Возможно, если бы он знал, он бы сжалился, сделал бы исключение, не был бы так строг.

Сообщать домой о провале значило довести мать до инфаркта. И Вилору тогда повезло, его приняли в техникум, где был недобор и где учили будущих сборщиков кораблей. Учился Аврутин поначалу спустя рукава, но неожиданно обнаружилось, что он легко читает чертежи и по проекциям сразу представляет объемную деталь. Мастер Данилыч, учивший черчению, а потом сборке, хвалил его, говорил: у вас богатое пространственное воображение, не зря я вас учу, мой милый. Мой милый, так он называл только тех, кого отличал. А пространственное воображение вовсе не было заслугой мастера. Просто Вилор всегда мысленно представлял сцену, трехмерное пространство. Читал пьесы, смотрел иллюстрации, и рисунки в его воображении оживали, в них появлялась глубина. Из вас может получиться хороший сборщик, сказал Данилыч на экзаменах. Аврутин поморщился, карьера сборщика его не устраивала.

Матери он, конечно, написал, что поступил в театральный. На каникулах домой не поехал, не смог бы смотреть в ее глаза. Записался в комсомольский стройотряд. Мать хотела выволить его из далекой Карелии, где рыли студенты техникума силосную яму, писала почти каждый день. И потом, когда закончилась стройка, забрасывала его письмами. Если сохранилась их переписка, можно было бы прочесть её, как увлекательный почтовый роман. Роман о несостоявшейся жизни, которая была много ярче реальной. Он писал о своих ролях, о том, как ценят его такие режиссёры, как Товстоногов и Акимов. Она радостно воспринимала его ложь. Отвечала в очередном письме, что всегда верила, настоящий талант оценят. Если бы жив был твой отец и не погиб на войне твой дядя и мой брат Вилор, мы бы тотчас приехали, чтобы увидеть тебя на сцене, но сама я не решаюсь ехать. Он не звал ее, вот будет своя квартира – тогда. Писал о постановке «Оптимистической трагедии», которая его действительно потрясла. Писал, что в ней ему дали роль вожака...

На этой постановке Аврутин сидел на балконе, денег на билет в партер не было, да и трудно было достать туда билет. Казалось, что артисты обращались к нему лично, такая была энергетика в словах и в том, как их произносили. Удивительной силой ударяла каждая фраза, произнесённая со сцены. И готов был верить и вожаку – Толубееву, и, конечно же, комиссарше, артистке со сложной фамилией, которую трудно было запомнить. Но сама она ещё долго стояла перед глазами. После спектакля долго ходил по городу, почти до утра. Стояли белые ночи, все казалось в мерцающем свете почти нереальным, воображение рисовало призрачные фигуры, кружащиеся в бесконечном вальсе. В молочном воздухе исчезали тени. Он увидел, как разводятся мосты, и в этом тоже было нечто фантастическое. Не хотелось возвращаться в общежитие. Писал матери, как в полной мере ощутил, что в наше время только театр дает возможность самовыражения, дает дыхание свободы. Писал, что его пробуют сейчас на роль вожака. Возможно, мать и догадывалась, что многое не так, ведь она читала театральные обзоры и афиши и нигде не встречала имени сына. Но вера ее преодолевала сомнения. Она совсем уже собралась, несмотря на одолевшие ее артриты, ехать в северную столицу, но поездку пришлось в который раз отложить.

Вилор уже окончил учебу в техникуме и его направили на крайний запад страны, в город, который раньше назывался Кёнигсберг. Вернее, он сам туда напросился. Обольстил его вербовщик, восторженный юноша его лет, приехавший в техникум и очень красочно рассказывающий о самом западном крае. По его словам, это был даже не край страны, а ее форпост, это был самый центр Европы. Сейчас, убеждал он, туда едут самые активные и самые деловые люди,

там теплее, чем в любом другом крупном городе страны, там незамерзающее море и золотистые дюны, горы чистейшего песка. Там самый крупный судостроительный завод, там ждут вас и специалистам, таким как вы, предоставят квартиры. А театр там есть, спросил Аврутин. Вербовщик радостно воскликнул: И даже не один!

Это был решающий довод. И Аврутин написал матери, что его распределили в самый западный город, где кипит театральная жизнь, и обещал, что когда устроится там и получит квартиру, вызовет ее, и они будут жить вместе. Потом он написал, что устроился в труппу местного театра. Но проверить так ли это, какую роль дали сыну мать так и не успела. Она ушла из жизни полная уверенности в том, что местный театр это тоже хороший старт для актерской карьеры, и вскоре сын прославится на всю страну.

На заводе, в городе, который лежал в руинах, Аврутина встретили хорошо, но ни о какой квартире даже речи не было, начальник отдела кадров с немигающими глазами удивленно вскинул бровь и стал выговаривать ему, как провинившемуся мальчику. Вы же видите, какой город нам достался, весь центр смела с лица земли английская авиация, выжгла напалмом, потом был штурм, люди живут в развалках, в бараках, кто вам сказал, что здесь вас ждет квартира, хотите сразу на все готовенькое, из молодых да ранний. Но где жить, денег нет, не на улице же, обиженно проговорил Аврутин. Начальник ничего не ответил, сидел, уткнувшись в бумаги, делая вид, что очень занят. Аврутин из кабинета не уходил. Потом все-таки начальник кадров смилостивился, оторвался от своих бумаг и написал направление в общежитие и даже пообещал, если Аврутин женится и покажет себя хорошим специалистом, то дадут отдельную квартиру. Но при этом заявил, что на заводе полно инженеров и техников, а нужны сборщики и сварщики. Сварку в техникуме Аврутин освоил. Даже нравилось ему, смотреть сквозь закопченное стекло щитка на веер разбегающихся искр. Но хороший шов у него никогда не получался. Но что было делать, что можно объяснить этому начальнику с немигающими глазами. Хорошо, сказал Аврутин, я согласен работать сварщиком, пойду, куда пошлете.

Потом пришлось пройти по разным кабинетам, сдать минимум по специальности, усвоить правила техники безопасности. В кабинетах сидели, возможно, и умные люди, и свое дело они знали, и знания свои хотели новичку передать. Но они, конечно, ещё не знали, что Аврутин надолго задерживаться здесь не собирается. Правда, завод произвел на него сильное впечатление: настоящий город. Чудом уцелевший в войну, добротные кирпичные здания, широкие стапеля, мощные краны, большие доки и причалы, все на совесть сработано немцами, все предусмотрено, и все же, все это казалось чужим, а сама работа сварщика не сулила ничего хорошего. И для чего учили чертежам и расчетам, никому это здесь не нужно, своих полно расчетчиков и учетчиков. И где эти обещанные театры и золотистые дюны? Существуют они или рождены воспаленным воображением вербовщика.

Аврутин был уверен, что не для того рожден, чтобы дышать аммиаком и дымом в сборочном цехе. И для себя он твердо решил, что вскоре покинет этот город, разрушенный войной, глухую провинцию, где нет коренного населения, где жители понаехали из разных концов страны и плохо понимают друг друга. В его бригаде были сплошь белорусы, почти все старше его, только бригадир Семёныч, почти квадратный крепыш, был лет тридцати. Но все ему подчинялись с полуслова. Многие прошли войну. Стропальщик Редня был сыном полка, был контужен и все время моргал левым глазом. Человек он был необычайной силы. Когда надо было домкратом поджать стальной лист, чтобы начать сварку, и надо было сделать это быстро, звали его. Никакой домкрат с ним не мог сравниться. Никому он не отказывал и в день получки, когда надо было в первых рядах пробиться к кассе, он тоже был незаменим. Зарплату выдавали в здании заводоуправления, касса была на втором этаже. Редню посылали туда с обеда, после обеда вся лестница была забита так плотно, что и комар не пролетел бы, но Редня протягивал свои руки и буквально втаскивал в очередь каждого из бригады.

Получив долгожданные деньги, все дружно отправлялись в путешествие по чепкам. Так назывались зеленые ларьки, окружившие со всех сторон завод. В ларьках этих брали дешевое спиртное – водку «коленвал» и угрей на закуску. Когда скидывались на общую выпивку и Аврутин положил в шапку пятьдесят рублей, Семеныч вынул его деньги. Отдал, да еще и нотацию прочел. Ты парень деньгами не раскидывайся, внеси трояк и ладно, надо так рассчитывать, чтобы до полочки хватило. Видно, голода не знал, – зло добавил самый старший из их бригады сборщик Сава. Возможно, был прав. Родился позже, когда уже карточки отменили. Редня ворчание Савы прервал. Сказал, всем хватило от этой войны. Даже хорошо, что сюда приехали, здесь у немцев запасы оставались. Какие запасы, возразил Семеныч, они еще больше нас голодали. Я помню, кошек всех поели. Мамаша вынесет им милостыню. А бабка на нее в крик, они сына моего, твоего мужа повесили, а ты – добренькая такая. Они бережливые были, сказал Редня, когда выселили их, то мы тайники находили, где посуда, хрусталь разный, банку меда даже однажды нашли. Да и какой голод, если рыбы любой можно было наловить, полно тогда рыбы было. Аврутин слушал их споры и многого понять не мог, вот радовались все жизни, а что в ней хорошего, наверное, решал он, эта бодрость от того, что в войну уцелели, что выжили...

Аврутин не пил. Но отставать от других не хотел, опасался прослыть белой вороной. Брал в руки стакан, подносил к губам и делал вид, что пьет. А потом налегал на закуску. Угорь таял во рту. Рабочие не обращали на Аврутина внимания, пацан еще, так считали. Только Сава, заметив, что Аврутин, свой стакан оставляет почти полным, сказал зло: ты что, Рыжий!? Закусывать пришел к нам. Если так, то лучше не вяжись с нами, чужой ты для нас! И Семеныч, хотя и остановил Саву, сказав, не цепляйся дед к пацану, все же добавил обидное, на обмане не проживешь.

Этот Семёныч сразу невзлюбил Аврутина, не нравилось тому, как Аврутин делает сварочный шов, не получался сплошной, приходилось переваривать. Ты, когда работаешь, учи! Он Аврутина, думай о работе, думай о том, какой электрод взять, как дугу держать, а не витай в облаках! Работу любить надо, а ты ее презираешь!

Как Семеныч сразу всё раскусил, словно в мысли пробрался. Конечно, если думать только о сварочном шве, он получится идеальным, но разве жизнь в этом шве, разве человек рожден для того, чтобы всю жизнь сваривать эти шпангоуты и переборки. Аврутин молча сносил все выговоры. Понимал, что рабочие его не любят, считают чужаком. Человек, который не пьет, становился подозрительным. Пьяные разговоры разные бывают. Трезвый их запоминает, сам особо язык не развязывает. Мало ли где может пересказать. Завод был режимный, строили здесь сторожевые корабли, и даже за пьяный трёп можно было запросто очутиться за воротами. В общежитии тоже почти каждый день пили. Если и играли в шахматы, то на деньги, а выигрыш тотчас шел на покупку бутылки. Такая игра была не для него. Аврутин уходил, и хотя усталость сковывала ноги, бродил по городу, подолгу стоял напротив здания театра, возле уцелевшего памятника Шиллеру, драматургу попал в горло осколок и говорили рабочие, что в городе только Шиллер не пьёт, дыра у него в горле. В театр ходил на один спектакль, было так тяжело смотреть на толстых пожилых дам, изображавших девушек, слушать крики их, и это после ленинградских театров было просто невыносимо. Даже если возьмут в такой театр, думал Аврутин, здесь делать нечего. И уж если придти, то стать режиссером, все по-своему перевернуть, набрать молодых... Уверен был, что смог бы это сделать.

Даже рабочие его бригады признали его актёрский талант. Как-то случайно вышло всё. Пошли в парк, и как обычно после полочки, затарились бутылками, закусками. После третьего стакана стали петь, но получалось всё вразнобой. Вечер был летний, теплый, расходиться не хотелось. Была здесь, в парке, забытая сцена, помост деревянный. Аврутин вскочил на этот помост и начал с монолога Гамлета – со знаменитого «Быть или не быть...». Думал, засмеют. А они примолкли. Семеныч даже прослезился. А когда закончил Аврутин, все заплодиро-

вали. Получилось почти как в настоящем театре. И чудилось Аврутину, что шум аплодисментов нарастает, что даже листва ему хлопает. И восторгам не было конца:

– Да ты же настоящий артист! Ну, отчудил, не хуже тех, которые по радио выступают! Давай ещё! Выдай, братишка!

Еще больший успех имели его далекие от настоящего театра, почти клоунские выходы. Он мог ходить важно, как гусь, изображая директора завода, шипеть, вытянув губы и сложив их в трубочку, как кассирша, выдававшая зарплату. Всё это вызывало просто восторг в пьяной компании. Но когда он изобразил Семеныча, высовывающего кончик языка и пыхтящего словно паровоз, такого, каким видели его при закрытии нарядов, все примолкли, и только Редня, до которого не сразу все доходило, захохотал, и, сообразив, сразу смолк, а Семёныч надулся и вычел из очередной ведомости переработку Аврутина, всем начислил, а ему нет.

Так что, Аврутин понял, что лучше изображать Хлестакова, Несчастливцева, Сатина, даже директора завода, нежели знакомых людей и особенно тех, от кого зависит твоя зарплата.

За месяц отчитал с парковых подмостков всё, что помнил. Пришлось пойти в библиотеку взять Чехова, Шекспира, подучить забытое, выучить новое.

Но все же, от желания изобразить знакомых, отказаться не мог. Точно угадывал характер человека, видел какому из животных он ближе, у того беличьи уши, у этого медвежья походка, у другого шея срослась с туловищем, как у удава. Соседи по общежитской комнате смеялись до упаду. Конечно, их он, наученный горьким опытом, не изображал. Брал исторические персонажи – Наполеона, Петра I, Черчилля... Советских сегодняшних вождей тоже не трогал...

Работа в бригаде учила ещё и тому, что не стоит высовываться, лучше быть незаметным. Как говорил дед Сава: мы сидём и в ус не дуём, а станешь дуть, по шапке дадут. Простои были частыми, иногда сутками просиживали, когда оттаскивали блок в цех, чтобы проварить потолочные швы. И надо было Аврутину высунуться, взял и написал рационализаторское предложение, чтобы сделать конвертор здесь на сборке, даже чертеж этого конвертора приложил. Все по его предложению сделали, и бригада лишилась дней простоя, за которые платили по-среднему. Всех этих тонкостей Аврутин не знал. И когда Семеныч выругал его, не сразу понял за что. И Сава ещё добавил: тебя не просят сучёныш, ты и не суйся...

Хотелось уйти подальше от всех, затаиться в углу цеха, не слушать ругани и постоянных упрёков, но деться было некуда, Семеныч зорко высматривал сачков.

В общежитии тоже редко удавалось остаться одному, но когда такой момент случался, то садился перед зеркалом и изображал и нынешних вождей, и своих соседей по общежитию. Сам был и актером и зрителем в одном лице. По ночам плохо спал, брал книгу, выходил в коридор, длинный, похожий на тот, что видел в кино, на океанском лайнере, такой и все же не такой, не общежитский полутемный, а ярко освещенный, и туалет там наверняка не общий, не такой, где все на виду. Ночи утомляли, но еще невыносимее было утро, общая суета, необходимость успеть умыться, кусануть припрятанный батон, и скорее во двор, где стояли полукрытые газики, надо было суметь втиснуться туда, в газик набивалось людей много, прижимались один к другому. Ни трамваи, ни автобусы до завода не доходили, надо было еще остановку идти через поле, летом болотистое, а зимой заснеженное. С работы возвращались мимо чепков, которые редко удавалось миновать. И так до самого входа в парк.

Однажды после полочки пошел с ними в парк молодой инженер, был он тоже сюда направлен по распределению из северной столицы, театр любил, знал толк в пьесах и постановки многие не раз смотрел. И хотя он был моложе рабочих, звали его уважительно Григорий Ефимович. Были у него длинные волосы, как у аристократов прошлого века, и всегда белые рубашки с накрахмаленным воротником. И был Аврутин счастлив, потому что инженеру тоже понравились исполненные монологи. Он даже сказал, что Аврутин на уровне Юрского. Григорий Ефимович тоже почти не пил, и потом они только вдвоем долго ходили по парковым аллеям и говорили, не переставая. А на следующий день вечером Аврутин был приглашен

в гости к инженеру. После общежития однокомнатная квартира показалась раем. Все стены были уставлены полками с книгами. Григорий Ефимович был родственной душой. Многих знал из мира театра и литературы. Рассказывал о своих встречах с Евтушенко, о том, как путешествовал с поэтом по Волге. Как в Самаре они отстали от парохода и догоняли на милицейском катере. Читал стихи Евтушенко наизусть. Родители Григория Ефимовича работали в столичном издательстве, и он, конечно, мог составить протекцию для Аврутина, рекомендовать его своим московским знакомым. Не понимал Аврутин, почему инженер торчит здесь, но об этом не спрашивал. Ведь как здорово, что он именно здесь остался и не уехал в столицу. Не нравилось только Аврутину, что смотрел на него Григорий Ефимович свысока, каждый раз давая понять, что нисходит до дружбы с простым сборщиком, потому что тот без него совсем пропадет. И чтобы повысить свой авторитет, показать, что и он не лыком шит, Аврутин стал выдумывать свои театральные истории. Он и раньше рассказывал о своих мнимых успехах. Но это бывало в той среде, где имена Товстоногова, Черкасова, Волчек ничего слушателям не говорили. Григорий Ефимович во всём разбирался. Поначалу он слушал внимательно и даже одобрительно кивал. А вот, когда стал ему рассказывать, как трудно было вжиться в роль Холстомера, засомневался. Не веришь, обиженно спросил Аврутин, ведь роль такая, что никто не соглашался, попробуй, сыграй лошадь, вырази чувства без слов. А я сумел!

Верю, верю, засмеялся Григорий Ефимович, верю всякому зверю. Но хочу тебе сказать, что прекрасно с этой ролью справились и Лебедев, и Борисов, я смотрел этот спектакль, и слов там у Холстомера достаточно... Да это позже, согласился Аврутин, а до него, был я первым, сам Товстоногов сказал обо мне, что лучшего Холстомера и пожелать трудно. Так, почему же заменили тебя на Лебедева или Борисова? – спросил Григорий Ефимович. Я заболел тогда, вывернулся Аврутин, не снимать же из-за этого спектакль, поймите меня правильно. Из-за этой болезни пришлось с театром расстаться.

Хорошо, что Григорий Ефимович про болезнь не стал расспрашивать. На здоровье Аврутин не жаловался. Был один изъян – плоскостопие, да и тот полезным оказался, в армию не взяли. Ведь не только с Холстомером пришлось расстаться, продолжал Аврутин, мне роль Хлестакова обещана была, не верите?

Григорий Ефимович свои сомнения высказывать не стал, но как-то после того, когда вместе они посмотрели бельгийский фильм «Чайки умирают в гавани» и сидели в его уютной квартире, сказал: в жизни надо быть собой, а не казаться кем-то. Что он имел в виду, Аврутин не сразу понял. И хотел тоже что-нибудь колкое сказать в ответ. Вроде того, что вот и вы знакомы со многими, с Евтушенко близки, а живете в разрушенном городе и ходите по утрам на завод, и как все мы, боитесь опоздать. Режим строгий и для всех одинаковый. Три раза опоздал и ступай за ворота. Неужели ваши высокопоставленные родители не смогли вас в столице пристроить...

И все же пожалел Аврутин, что выдумал все про театр, это можно рабочим рассказывать или соседям по общежитию, но не такому знающему театральным миром человеку. Часто говорили и о местном театре. Хотя Григорий Ефимович соглашался, что здесь, в провинции, театра настоящего нет, но говорил, что здесь зреют идеи, есть самодеятельные театры, вот и на заводе есть свой театр, слышали? Аврутин ответил, что не слышал, но подумал, наверное, самодеятельность, какой-нибудь заводской хор...

Зашел у них разговор и о рационализаторском предложении Аврутина, Григорий Ефимович знал об этом и даже сказал, что сейчас пересматривают нормы, и уж тогда из бригады Аврутину надо уходить. Понимаешь, сказал инженер, ты на Семеныча не злился, он с заводом сросся, он за своих сборщиков болеет, если бы все такие были, завод бы процветал. Но здесь никому и ничего не надо, потому что всё – не моё, не собственное, ты посмотри, как всё растаскивают, идут после работы к проходной, фуфайки топорщатся, у кого краска, у кого инструмент. Это все по мелочи, а на машинах что везут, и говорят открыто: что нельзя вынести, то

можно вывезти... Мы здесь, как белые вороны. Да, соглашался Аврутин, ему льстило то, что инженер сказал именно: мы...

И всё же Аврутин не всегда понимал Григория Ефимовича. Инженер взял его под свою опеку, тратил часы на беседу с ним, давал читать книги. Почему? Мог ведь найти людей из своего круга. Были у Григория Ефимовича и альбомы с картинами разных художников. С собой брать он их не давал. Особенно дорожил толстой книгой на немецком языке, в которую были вставлены разворачивающиеся листы со странными картинами. С удовольствием разглядывал подолгу эти картины вместе с Аврутиным. Восклицал: какое предвидение у этого Иеронима! Называл художника по имени, словно своего давнего друга. Босх – было крупно написано на обложке. Привидения и адские чудовища на картинах этого Босха мучили людей. Некоторые люди срастались с животными, были продолжениями растений. Инженер терпеливо разяснял, что такое сюрреализм, как Босха продолжил Сальвадор Дали. Картины притягивали и в то же время отталкивали. Неужели мир так жесток? И стоило ли пугать людей муками ада. Григорий Ефимович вздыхал, говорил, что Босх не пугал, а предупреждал. Знал художник, что пробуждаются силы зла. Но Босху и не снились те муки, что испытывали люди совсем недавно, раздетые женщины с детьми на краю расстрельных рвов, газовые камеры, массовое уничтожение.

Есть ли предел человеческой жестокости? – спрашивал сам себя инженер. Аврутин не мог и не умел с ним спорить, он не обладал знаниями, позволяющими ответить на все эти неразрешимые вопросы. Аврутин взамен ничего не мог дать. Придуманные истории о театральных успехах Аврутина инженера не интересовали. Он несколько раз заходил в сборочный цех, где работал Аврутин. Семенычу не нравились эти посещения. Что он от тебя хочет, этот козёл? – спросил бригадир. Ничего, ответил Аврутин. Смотри, опасайся этих живоглофов, предупредил Семёныч. Бригадир не любил начальников, инженеров, контролёров, всяких военпредов и прочих, как он считал, бездельников. Не брал в бригаду и женщин. Хотя были в других бригадах опытные сварщицы, не хуже мужчин справлялись с любыми швами. Считал, что от женщин одни раздоры, слезы и приставания. Да, рассказывали, что был тут случай со сварщицей Мирой, о котором Семеныч вспоминать не любил. Не любил, когда отвлекали его от работы. От Аврутина, считал он, как и от женщин, толка не будет. Один только раз попросил выручить, когда забыли во втором дне вырез для стока воды сделать. Сварщики все были силой не облелены. Хотели секцию разбирать. Потом вспомнили про Аврутина. Позвали, он обрадовался. Конечно, пролезу, ответил. А газорезкой сможешь? И газорезкой смогу, ответил, хотя до этого не делал вырезов, только сваривал. Но все обошлось, и пролез, и вырез сделал. Выбрался, лицо от копоты черным стало. И ни тебе спасибо, ни сочувствия. Хохочут. Смотрите, артист негром заделался! Теперь тебя в театр возьмут, там негры нужны. Но Миру ты заменил достойно!

Про Миру рассказал Сава, говорил как всегда с ужимками и усмешками. Оказывается, вот так же надо было пролезть во втором дне на военном корабле, уже готовом к сдаче, там забыли сток вырезать, так застряла Мира, зад не пролез, на крик матросня собралась, и пошла у них потеха, Семенычу нашему тогда выговорешник закатали и премии лишили. Вот была потеха, повторял Сава и хохотал.

Слушать его было противно, вообще, как можно так издеваться над женщиной, облачить в телогрейку, надеть защитные очки, превратить в краба – будешь сварщицей, разве это по-человечески. И женщины заводские становились такими же грубыми, как и их работа. А женщинам ведь ещё надо было о своей семье заботиться, для дома многое требовалось, выносили, засунув под фуфайку и банки с краской, и рулоны брезента, и резину, которой корабли одевали, чтобы те стали бесшумными. Резина эта шла на стельки и набойки, на матрасы. Женщин на проходной не обыскивали. Наверное, понимали, что нужда их толкает, в магазинах почти ничего не было.

Семеныч за мелкие кражи не распекал, но если человек жадничал, брал не только для своих нужд, а для того, чтобы продать на барахолке, тут уж доставалось несуну по полной

катушке. Даже старика Саву не пощадил. Тот вздумал болты крепежные таскать, сначала помалу брал, никто не замечал, а однажды случилось, что вообще не осталось болтов, так погнал Семеныч Саву домой, чтобы тот принес болты. Кричал на него. Ты, старый, меры не знаешь, под суд пойдешь! Взяли манеру все тащить, нужно, не нужно, все до себя, живете так – моё моё и твоё моё, и всё это наше. Сава побежал домой, через час из проходной гонца прислали, не пропускают, мол, с деталями вашего деда. Это я его послал, сказал Семеныч. Не выдал Саву. И почему-то стал Аврутина поучать: ты ещё молод, пример с таких не бери, то, что ему с рук сошло, тебе не спущу. У Аврутина и в мыслях не было, что либо тащить с завода. Да и куда? В общежитие что ли? Сказал об этом Семенычу. Но тот не успокаивался. Вот такие, как ты, молокососы на барахолке торчат. Дела им нет до кораблей, не то, что страну, родную мать готовы продать. Мало этих нотаций, так еще Сава решил, что именно Аврутин мастеру настучал, заложил, мол, хотел выслужиться.

Хотелось убежать от всего, закрыться бы в комнате, ах, если бы была своя комната. В общежитии невозможно и минуты побыть одному. После одного обидного события впервые пошел в местную забегаловку, взял двести грамм и макароны по-флотски, другой еды не было. На липких клеенках сидели мухи. Толстоногая официантка швырнула на стол тарелку с остывшими макаронами так, что мухи разом взлетели и закружились над столиком. Есть не хотелось. От водки не стало лучше, а еще больше надвинулась тяжесть и разрослась обида.

Случилось то, что должно было случиться. Никогда ему не доверяли варить ответственные швы, а тут не вышел на работу, запил главный умелец Тихон. Был тот спецом незаменимым и ему многое прощали. На круглом его лице выделялись красные глаза, делавшие его похожим на кролика. Здесь виновата была не только выпивка, но и сварка, сварщиком он был уже лет двадцать. Семеныча вызвали к начальству. Ничего о Тихоне слушать не хотели, укорили – у нас нет незаменимых людей. Вернулся после планерки Семеныч насуспенный, позвал Аврутина, дружески приобнял... Вот и выпало – сделать главный шов на стыке секций. Строили корабли секционным методом, потом секции соединяли. Потом сдавали контролерам из морского Регистра и военпредам. Дали нагрузку – и шов лопнул. Такое и у опытных сварщиков бывает. А тут так накнулись, будто убить хотели. Бригаду лишали премии, так что же – за эту премию можно человека так унижить, что он и человеком себя не почувствует, а так мелкой тварью, которую и раздавить лень. Артист, мать в перемать, кричал Семеныч, чтобы, рыжий, глаза мои тебя не видели! Ты понимаешь сука, что с нами сделал. И никто не заступился. Даже крановщица Любка, гулящая и пропойная баба, завизжала: выродком назвала и по матери прошлась. Мать не трогай, крикнул ей. И еще больше раззадорил. И зачем мы, бабы, таких недоделанных рожаем! – закричала на весь цех.

В забегаловке отыскал его Григорий Ефимович. Узнал обо всём. Понимал, что надо поддержать, успокоить. Но начал с нотации. Сказал внятно, учительским тоном, последнее дело себя водкой успокаивать, это удел людей слабых, недалёких, а перед тобой иное будущее. Ответил, нет у меня будущего. Я талант свой загубил, я сам виноват. Не надо было из Питера уезжать. Там перспектива, а здесь что, глушь, провинция...

И водка подействовала и нотации инженера, так, что жить не хотелось. Разве для того рожден на свет, чтобы до пенсии вдыхать гарь и копать, смотреть на мир через темное стекло щитка, чувствовать резь в глазах от сварки. Так и не научился беречься от ярких вспышек. И в техникуме, когда обучали сварке, говорил мастер, это не твоё, тебе на инженера надо учиться, пространство чертежа видишь, а здесь хватаешь постоянно зайчиков. Зайчиками называли вспышки сварки, на которые неосторожно глянул незащищенным взглядом. После такого, говорят —« зайчика поймал», а в глаза словно песка насыпали, несколько дней отмачивать приходится чаем.

Аврутин уткнулся в грудь Григория Ефимовича и как-то утробно, нутряно выкрикнул: не могу больше, не могу! Жить в этом городе не могу!

– Успокойся, – сказал Григорий Ефимович, – я ведь тоже поначалу не мог, ехал сюда, как в ссылку, но ничего, пообвыкся. И родители успокоились...

– Я никогда не привыкну, что здесь такого, чтобы за эти развалины держаться, – сказал чуть не плача. – Вам хорошо, и отец, и мать есть, а мне и уехать не к кому. Кому я нужен?

– Ты не прав, Вилор, пойми здесь город новый, почти в центре Европы, за ним большое будущее.

Аврутин не поверил, хочет успокоить инженер, какое здесь может быть будущее, сказал, кто же станет здесь все строить, это ж сколько надо сил и людей...

И тогда Григорий Ефимович принял за правило в выходные дни делать для Аврутина нечто вроде познавательных экскурсионных прогулок. Уходили из разрушенного центра в район Амаленау, любовались уцелевшими особняками, разглядывали диковинные деревья, часто ходили на остров, где стояли нетронутыми руины Кафедрального собора, сидели на камне возле могилы Канта, объяснял Григорий Ефимович, что это самый великий философ, а чем он велик не мог доказать. Чужим оставался город для Аврутина. Да и рабочие в его бригаде нет-нет да заводили разговор о том, что вернут этот город немцам, что ведутся уже переговоры и каждому, кто уедет отсюда добровольно, заплатят по триста тысяч марок, сумма непредставительно большая и многие даже спрашивали у Семеновича, а как будут выдавать, где получить будет ее можно, на всех ли хватит немецких денег.

Григорий Ефимович посмеивался над этими разговорами, объяснил Аврутину, что никто и никогда город этот и весь этот край не вернёт немцам, что здесь незамерзающий порт и от Германии край отделен Польшей. Видно было, что очень разозлил разговор Григория Ефимовича, повысил он голос, словно Аврутин был за то, чтобы город отдать. Даже крикнул: нельзя временщиками быть на земле. Здесь земля пропитана кровью наших солдат! Потом и сам смутился, понял, что Аврутин ни при чём. Сказал, ошибка наших правителей в том, что прошлую историю края изучать не хотят, словно боятся, что город отдавать придется, если узнают люди его историю. Запретили вспоминать всё, связанное с прошлым.. Засунули головы в песок, как страусы, могли город возродить, красоту его открыть людям, а делают все, чтобы город обезличить; замок взорвали, а надо было восстановить, совсем другой вид был бы в центре города, это им вспомнят те, кто в этом городе родится, для кого он истинной родиной станет. С названием, правда, не повезло, не ко времени умер всенародный староста, а то быть бы городу Балтийском, одно утешает, со временем забудут люди, кто такой Калинин, калину в скверах посадят. Очень полезная ягода, будут уверены в том, что город в честь этой ягоды и назван. А чем Калинин плох, удивился Аврутин. Лучше тебе не знать, а полюби город, как бы он не назывался. Придет время никто и не вспомнит об этом ничтожестве...

Но понимал Григорий Ефимович, что дело не только в городе, дело в личной судьбе, и пропадет его подопечный, если в бригаде сборщиков останется, сопьётся и никакого театра не увидит. А главное его тяготит работа. А это последнее дело. Пытался он убедить Аврутина в целесообразности всей этой тяжелой работы в судосборочном цехе. Ведь все это превращается в быстроходный современный корабль! Как раз в это время заканчивали постройку сторожевого корабля. Блоки корабельные уже соединили и готовили к оснащению. И настал день спуска на воду. Вернее не день, а вечер. Дело затянулось. Все время исправляли недоделки. Хорошо, хоть к сварщикам претензий не было. Семеныч хвастал, что раньше всех их бригада все сделала. Вроде бы и мог идти домой, но увидел Аврутин, что не только Семеныч ожидает спуска корабля, почти вся бригада была здесь. Обидно стало, что не позвали днем, не сказали ничего, чужой для них.

Стеменело уже, но люди не расходились. Аврутин несколько раз порывался уйти, но всякий раз Григорий Ефимович останавливал его. Сам увидишь, зрелище потрясающее, говорил инженер. Часам к десяти вечера, когда окончательно стемнело, все было готово. Пространство наклонного стапеля осветили мощными прожекторами. Ждали командующего флотом и его

жену. Она должна была стать крестной матерью кораблю. Но вот и начальство подъехало, впереди командующего, все время оглядываясь на него, вышагивал, словно гусь, директор, последней вышла из машины белокурая красавица в кожаной куртке, толпа неохотно расступилась. Выбили последние стопора. И корабль сначала медленно, как бы нехотя заскользил по смазанным салом полозьям, потом начал набирать ход, так что пришлось его одерживать лебедками. Визжали от напряжения тросы, скрипели полозья. И когда корабль вошел кормой в воду, красавица жена командующего качнула пеньковый тросик, на котором была привязана бутылка шампанского, и эта бутылка ударилась точно в носовую часть корабля, рядом с якорным клюзом, и звонко разбилась. Все закричали: ура! ура! ура! Троекратно, как и положено на флоте. Рядом прыгал и радостно хохотал Сава. Семеныч, раскрасневшийся, уже успевший принять горячительного, хлопнул Аврутина по плечу и крикнул: Видал-миндал! А между тем корабль медленно входил в родную стихию, корма взбурлила воду, разбуженная вода качнула корпус, и нос корабля задрался вверх, а потом, слегка нырнув, успокоился. И вся громада корабля плавно и гордо сделала вираж по бухте, потом корабль подхватили буксиры, натянули троса и протяжно загудели..

Бухта вся была освещена мощными прожекторами, кто-то запустил в небо несколько ракет. Зрелище было почти фантастическое. Ночь, которая запоминается надолго, так сказал Григорий Ефимович. А потом долго расспрашивал Аврутина, ощущает ли он гордость за свою работу. Разве она видна, сказал Аврутин, все мои швы внутри, и кто отличит, мой это шов или другого сварщика.– А ты бы хотел быть не просто сварщиком, а проектировать корабли? – Аврутин усмехнулся, да кто доверит такое. Вот и сам Григорий Ефимович, разве он проектирует, так на подхвате, называется привязка чертежей в техническом отделе, само же конструкторское бюро вообще в другом городе. Но Григорий Ефимович старался уверить, что и здесь в техническом отделе создают пусть малые, но свои проекты, каждый день, что-нибудь новое. И еще он говорил, что надо любить свою работу, тогда она не утомляет. Хотя сам он, как это чувствовал Аврутин, тяготится своим положением, и лучше бы ему быть ну хотя бы учителем, чем инженером. Но вот уверяет, что везде есть место творчеству, что любой чертеж уже основа для создания детали. Спросил, хочешь в технический. Надо попробовать, согласился Аврутин, в техникуме говорили, что у меня пространственное воображение, я чертежи хорошо умею читать. Вот и славно, сказал Григорий Ефимович.

И он сделал всё возможное, все свои связи употребил, чтобы перевести Аврутина в технический отдел. Здесь опять пришлось заполнять особую анкету, хотя и не оформляли Аврутину допуск к секретным документам, но все же он был в том помещении, где эти документы изредка появлялись. Опять пришлось про отца писать так, как учила мать, да еще выяснилось, что Аврутин не встал на комсомольский учет, как-то не придавал этому никакого значения, хорошо, что билет не затерялся. Пришлось пойти не только в комитет комсомола, но и в партком. Объяснять, что не отлынивал от общих дел, вспоминать на каких комсомольских стройках во время учебы успел побывать. Секретарь парткома, похожий на тюленя, шеи не было, голова сразу переходила в туловище, долго и обо всем подробно расспрашивал. Укорял и стыдил. Говорил о том, как во время войны работал на заводе, в двенадцать лет уже стоял у станка, и рабочий день, не как сейчас, а иногда круглые сутки с завода не уходил, вот это были комсомольцы тогда, понимали, что нужны фронту снаряды и танки, а если бы такие как сегодня были, разве победили бы врага. Аврутин выслушивал нотации молча. Разве виноват, что родился после войны, ведь тоже не отказывался никогда от работы. Ездил со всеми в Карелию на комсомольскую стройку, делали силосную яму, под дождем в грязи, тоже от рассвета до заката. Почему все любят поучать и упрекать, а ты должен терпеливо слушать, этого Аврутин не мог понять, но все же ничего секретарю не сказал, со всем соглашался. Пришлось, правда, погасить задолженность по взносам за два года. Денег не было, хотел даже отказаться от перехода

в техотдел. Григорий Ефимович и слушать не хотел, дал сто рублей, буквально насильно сунул в карман Аврутину.

В первый день на новой работе несколько раз подходил к столу, который выделили Аврутину. Говорил ничего не значащие слова, но все же своим подходом утверждал, что новый работник здесь человек нужный. Хотя заданий никаких в первые дни не было. А без задания сидеть было неудобно. Дали ворох инструкций, изучай. Было здесь ещё тоскливее, чем в бригаде. Здесь и без Аврутина было полно бездельников. Начальница отдела находилась за стеклянной перегородкой и оттуда наблюдала за всеми. Была она совершенно седой и мужеподобной. Сидели за чертежными досками, в основном, женщины, озабоченные не чертежами, а своими домашними проблемами, и когда начальница покидала свой пост и отправлялась на очередное совещание, уходили в заводские магазины, возвращались с полными сумками, раскладывали на столах покупки, говорили о своих женских делах, не обращая внимания на Аврутина, словно и не человек он был, а так, безмолвное существо. У них, конечно, было много своих забот. Все съестное приходилось доставать, так и говорили – не купила колбасу, а достала, за всем были очереди, у женщин были дети, которых надо было не только кормить, но и одевать, и забирать из садика, или снаряжать в школу. Аврутин был далек от этих проблем, общежитская жизнь, хотя и постылая, была намного проще.

Обед в заводской столовой стоил копейки, а запастись продуктами на ужин или завтрак было бессмысленно, потому что соседи по койкам придерживались коммунистических взглядов, и говорили: моё – твое, и твое моё. Женщины в отделе на обед не ходили, но постоянно что-нибудь жевали и беспрестанно пили чай. Аврутина посылала за водой в третий цех, там был родник, и все там запасались хорошей питьевой водой. Посылала и на склад за карандашами и лекалами, за бумагой. Он нарезал листы из рулона, точил карандаши, и всё время чувствовал на себе презрительные взгляды. В общем, мальчик на побегушках.

Несколько раз ходил и на плаз, нам самом верхнем этаже здания, где был мебельный цех. В этот цех многие стремились попасть, делали мебель для корабельных кают, заодно можно было и для себя постараться, а потом по частям вынести. Плаз представлял из себя широкое освобожденное от всего пространство, на полу которого вычерчивался теоретический чертеж очередного корабля. Здесь же хозяин плаза, молчаливый старик, с лентой на лбу, удерживающий длинные волосы и делающий его похожим на древнеславянского воина, делал из фанеры лекала для судосборщиков и был хранителем чертежей. Аврутин расписывался в толстой амбарной книге за очередной чертеж и приносил его в техотдел. Здесь женщины старательно перечерчивали все, что было на этом чертеже, чтобы потом внести туда изменение, которое требовали военпреды и сдатчики. Перечерчивали аккуратно и долго. Аврутину все это казалось излишним, зачем перечерчивать, когда просто можно скопировать. В том, что он прав убедил его и разговор с хозяином плаза. Тот считал, что вообще техотдельские женщины напрасно тратят время, можно было бы и здесь, прямо на плазе, внести изменения. Это он, конечно, загнул, изменения то можно внести, но нужен отдельный чертеж, согласованный со всякими инспекциями, которых полно на заводе. А вот стоит ли перечерчивать то, что уже вычерчено.

Об этом и сказал начальнице. Та посмотрела на него так, словно впервые увидела, и вопрос в ее глазах застыл – кто, мол, ты такой, чтобы нам указывать. Так она не сказала, а процедила медленно, мол, каждый должен заниматься своим делом, и хорошо, что он, Аврутин, хочет ускорения работ, но глубины процесса он не может понять. Так она сказала, а потом видимо и своим подчиненным смысл его предложения передала. Получилось, как и у судосборщиков с конвертером. Увидели все в нем человека опасного, пожелавшего их работы лишиться, но быстро успокоились, убедившись в том, что начальница на его уловки не поддалась. Там же, на плазе Аврутин познакомился с молодым докмейстером, своим ровесником, тоже как выяснилось, приехавшим из Ленинграда. Выглядел этот докмейстер совсем молодым пацаном, чер-

ные курчавые волосы, быстрые резкие движения, но называли его уважительно Борис Андреевич. На плазе Борис Андреевич заказывал шаблоны – фанерные лекала, это, пояснил, для клеток, по этим шаблонам плотники выстругивают брусья на клетках, чтобы корабль сел в приготовленную ему постель. Объяснений Аврутин не понял, но когда разговорились и стали вспоминать ленинградские театры, почувствовал, что человек этот близок ему. Был у докмейстера четырехтомник Шекспира, и было еще избранное, так что это избранное шекспировское он даже пообещал отдать Аврутину.

Потом об этой встрече Аврутин рассказал Григорию Ефимовичу. А как же, знаю, обрадовался инженер, это любопытный человек, он там у себя на доке целую библиотеку держит, я сам у него иногда книги беру. Давай после работы подойдем, возьмем для тебя Шекспира, я его сам перечитывать люблю, а тебе и бог велел. После работы направились не к проходной, а к причалу, где стояли два дока. Пospели во время, еще бы минут пять, и док отошел бы от стенки. Уже рабочие готовились поднять трап. Докмейстер бегал по переходному мостику, размахивал руками, отдавал команды, заметил Григория Ефимовича. Стали кричать друг другу, объяснять за чем пришли, докмейстер просил подождать, быстрыми шагами, почти бегом устремился к доковому пульту управления, и вскоре вынес пакет, который спустил с башни на бичевке, пакет долго раскачивался в воздухе, пока Аврутин не изловчился и не поймал его. Там была желанная книга, в одном томе и «Гамлет», и «Король Лир». Док между тем отошел метра на три от берега, и начал погружаться, вода темными потоками заливала палубу дока, башни тоже начали уходить в воду. Аврутин, зажав в руках книгу, повернулся и сделал уже с десятков шагов от причала, когда Григорий Ефимович задержал его. Давай посмотрим, зрелище почти театральное.

Они присели на кнехт у самой кромки воды, дождались появления на горизонте буксиров, а за ним и корабля, у торца дока буксиры развернулись, и корабль уже на тросах, поданных с дока, стал медленно входить в пространство между башнями. Друзья и не заметили, как целый час просидели на причале, наблюдая за тем, как медленно всплывал док, и выступал из воды корабль, все выше и выше, все сильнее надавливая на приготовленные для него клетки. Уже темнело, на доке включили прожекторы, и в их свете стало все каким-то нереальным, фантастическим. Корабль, вытянутый из воды, огромный возвышающийся надо всем, башни дока, словно крепостные стены, вдоль его бортов, звонкие команды, нарушающие тишину вечера. Вот бы работать здесь на доке, мечтательно протянул Аврутин, сюда можно устроиться, но ты не спеши, освойся в техотделе, сказал Григорий Ефимович.

Потом, когда Аврутин возвращал докмейстеру томик Шекспира, тот сам заговорил о том, как не хватает ему умного собеседника. Понимаешь, сказал он, как это утомительно и долго ждать, когда приведут буксиры очередной корабль, иногда всю ночь приходится возиться. Поэтому и книги держу здесь, в своей каюте. Вот освободится место, обязательно позову... Григорий Ефимович сказал: эх. Борис Андреевич, я и сам бы к тебе пошел, не работа, а мечта. Они сидели в каюте докмейстера и пили заваренный по особому рецепту тайваньский чай. Изредка беседу прерывал звонко дребезжащий телефон. Докмейстер отвечал короткими фразами, да, нет, можно. Аврутин не всегда понимал их разговоры. Слишком оба они были начитаны. Казалось. Аврутину, что вот напрасно работают здесь, на заводе, могли бы читать лекции где-нибудь в университете, опыты научные ставить, сочинять что-нибудь. Сказал об этом Григорию Ефимовичу, примеряя и к себе, что должен человек там быть, где его талант оценят. Инженер не согласился с ним. Вот тебе пример, докмейстер, он мастер своего дела, и никто не мешает ему заниматься философией. У него даже опубликованы две статьи. Человек должен многое в жизни уметь. Вместить в себя многое. И учиться надо, всю жизнь надо учиться.

Работа так выматывала, что ни о какой учебе речи не могло быть. Сдавали корпус корабля, почти через день работали сверхурочно. Кляли начальство и Семеныча, но оставались на стапеле, когда уже почти все заводские рабочие минули проходную.

Незаметно подступили майские праздники. Весна была дружная и теплая. Сразу все зазеленело вокруг. Объявили, что все должны явиться на демонстрацию, и начальница пригрозила, что тех, кто не придет, лишат квартальной премии. Аврутин и не собирался отлынивать. Благо сбор демонстрантов был назначен возле общежития, оттуда уже заводская колонна должна была идти к площади, путь немалый – километра три. День выдался солнечный, но ветреный, женщины из техотдела стояли за высоким забором, прячась от ветра. Аврутина сразу заметили. Начальница следила за тем, чтобы каждому достался флаг, портрет или на двоих транспарант. Аврутину всунули в руки полотняную раму, в которой уместилось изображение какого-то старика, то ли Дзержинского, то ли Калинина. Целый час пришлось ждать начала шествия. Аврутин даже продрог в своей легкой куртке. Начальница ушла в голову колонны. Там уже выступали впереди всех, важным шагом руководители завода. Все как на подбор были в черных плащах и шляпах. Кто-то из девиц сказал довольно-таки громко: вот мафиози, ну чисто итальянцы. На девицу зашикали. Прошли с полкилометра. Многие успели отстать. Те же, кто остался, потихоньку избавлялись от своей ноши. Приставляли к стенкам домов портреты и транспаранты. Аврутин не догадался вовремя избавиться от своего старца. Стал присматривать место, куда прислонить, и в это время его окликнул зычный голос: артист, давай к нам! Это был Семеныч. Судосборщики шли своей колонной. Веселые, праздничные. Ни у кого не было в руках ни флагов, ни портретов. Только транспарант один растянули от одного края дороги до другого. И было написано на нем крупными буквами: «Трезвость – норма жизни». И где они только такой отыскивали, удивился Аврутин. Потом узнал, что Семеныч специально такой взял, чтобы не очень «шилом» увлекались и могли до трибун дойти. Нашелся и баянист, играл не очень хорошо, но старался вовсю. Пели частушки, старался Редня, высказывал впереди баяниста, срывал шапку, не пел, а кричал: корабелы, корабелы, чудачки проклятые, вынимай рубли на бочку, рубли свои мятые... Потом, заметив Аврутина, вырвал из его рук портрет и прислонил к ближайшему столбу. Аврутин поначалу не мог понять, от чего такое веселье царит у судосборщиков, но потом, когда протянули ему кружку и глотнул, да так глотнул, что внутри все загорелось. И сразу тепло стало, и тоже радостно. Оказывается начальник цеха, как объяснили Аврутину, выдал для тех, кто пойдет на демонстрацию «шило», так называли спирт, который выдавали для протирки приборов. И правильно сделал. Какой же праздник без «шила». И были все довольны, и обнимались, и говорили друг другу добрые слова. Так незаметно дошли до трибун. И с трибун заметили их, и закричал один из городских начальников в рупор: Да здравствуют передовые корабелы! Слава рабочему классу! И Аврутин вместе со всеми кричал трижды ура, ура, ура! И захотелось ему вернуться в цех, вернуться к судосборщикам, пусть ругают, пусть смеются над ним, но лучше с ними, лучше живая работа, чем эта техотдельская затхлость.

И после праздников стало ему совсем тошно среди женщин. Все они были старше его и казались ему на одно лицо. Почти никто не улыбался. Он бы и ушел, если бы через неделю не появилась совсем непохожая на других чертежница, вышла из отпуска, самая молодая, ровесница Аврутина, были у нее светлые кудряшки, всегда широкая добрая улыбка, и лебединая шея. Аврутину казалось, что она как-то по-особому улыбается именно ему. В ней светила, бурлила жизнь. И что самое главное – она играла в заводском самодеятельном театре, о котором ему рассказывал раньше Григорий Ефимович, а он, дурак, захотел показать, что это не для него, что после столичных театров ему идти туда не пристало. Теперь он запоздало пожалел о своём отказе.

Молодую девушку звали Эвелина. Очень романтическое и театральное имя. И как сочетается с его именем. Написать бы пьесу – «Эвелина и Вилор» и сыграть в ней главные роли! Так думал Аврутин. Но Эвелина на него не обращала никакого внимания. Пока он не стал в ее присутствии рассказывать о своих театральных успехах. Женщины слушали его невнима-

тельно. Но Эвелина несколько раз уважительно посмотрела на него. И сама предложила придти на репетицию заводского театра.

2

Заводской самодеятельный театр располагался в старой немецкой кирхе. Было поделено здесь время между спортивной секцией и актерскими репетициями. Если же был спектакль, то приходилось притаскивать стулья из соседнего здания, где была столовая. Заправлял всем здесь режиссер – очкастый низенький человек, обладатель оглушительного баса Мирский. Кричал он на всех подряд. Всё его не устраивало. Но Аврутина он встретил ласково. Сказал, что позарез нужны опытные актёры. Наверняка Эвелина порассказала о нём, вернее пересказала рассказанные им истории. Приходилось держать марку.

Мирский хотел сделать необычный театр. Монтировали сцену посередине зала. Там где была волейбольная площадка. Снимали сетку. Спортсмены кричали на Мирского, тот на спортсменов. Побеждал обычно Мирский. Аврутин вспомнил, что видел подобную сцену в центре зала в театре, который одно время давал спектакли в Эрмитаже. Как там объясняли – это давало большой эффект присутствия для зрителей, и сами зрители тоже становились фоном. Оказалось, что Мирский знал режиссёра этого театра. Обрадовался: вы там играли? Скажите – ведь это был прорыв, Энея – необыкновенная была. Да, соглашался Аврутин, это незабываемое. У нас будет ещё сильнее, уверял Мирский. Мы не остановимся на этой кирхе, мы выйдем на площади, вы видели большой заводской док, там, на широкой стапель-палубе, в то время, когда док пустует, можно развернуть театральное действие, по вертикальным трапам на док будут взбираться пруссы, клетки на палубе дока – это будут их родовые стоянки, крестonosцы засядут в пульту, зрители с башен дока будут видеть всю картину, это даст потрясающий эффект, я говорил с докмейстером, этот молодой человек тоже загорелся моей идеей. Вместо священного дуба – будет доковый кран. Это уже его идея! Там на широком пространстве нужны звонкие молодые голоса. И вы для нас просто находка! Потом Мирский выбежал на сцену, стал что-то говорить каждому, все суетились и старались понять, что же он от них хочет.

На сцене, а вернее, в центре зала, на месте волейбольной площадки были поставлены столы так, чтобы они образовывали крест. За столами шла трапеzia рыцарей тевтонского ордена. Все они были облачены в белые плащи с черным крестом на спине. Черным, поясняла Эвелина, мы сначала заказали темно-красные кресты, но оказалось это кресты тамплиеров, пришлось перешивать, понимаешь, для рыцарей очень было важно отличаться друг от друга, они постоянно соперничали тамплиеры и крестonosцы, поясняла Эвелина. Аврутин кивал, но не вникал в ее пояснения, его увлекло действие, происходящее за столами. Рыцари, выходцы из разных стран яростно спорили. Тот, что прибыл на эту трапеziu, вернее на тайный сход, из Франции настаивал на немедленном выступлении в поход на Палестину. Братья во Христе! – восклицал рыцарь, в котором, к своему изумлению, Аврутин узнал Редню. Облаченный в плащ, тот вышлся надо всеми и голос у него был зычный. Братья во Христе! Доколе можно терпеть издевательства турок, мы молча взираем на то, как уничтожают наших паломников и оскверняют святыни Иерусалима, мы забыли заветы и цели наши! Его пытались успокоить: Не горячись, брат Теодор, вспомни все наши крестовые походы. Было время, когда рыцари не враждовали друг с другом, было время, когда все христиане двинулись на освобождение Гроба Господня, и все равно даже тогда дело заканчивалось большой кровью, мы теряли лучших наших братьев, не говоря уже о толпах крестьян бедняков, которые шли на явную гибель во славу Господа нашего Иисуса Христа. Но Теодор-Редня не успокаивался, его герой ведь сам участвовал в последнем походе. Под сводами кирхи его голос звучал так, словно был усилен микрофоном. Мы бы освободили Иерусалим, даже египтяне искали с нами мира! При этих словах голова его дергалась и он моргал, получалось естественно, вроде бы выражал свой гнев. Контузия сказывалась. Он повышал голос: будь прокляты тамплиеры, учинившие кровавые схватки на ули-

цах Аккры. Никакого союза не может быть с ними. Из-за них мы лишились всех наших владений в Святой земле! И сейчас именно наш орден должен возглавить поход. Со всех концов света тянутся к нам и в нас видят избавителей и христовых заступников! Тут заговорили все разом и вдруг мгновенно смолкли. На сцене появился верховный магистр Тевтонского ордена. Это был Герман фон Зальца, которого изображал инженер из отдела новой техники. Аврутин сталкивался с ним на работе, когда пытался доказать необходимость внедрения своего предложения по кантователю, но инженер был непоколебим в своей неверии. Говорил писклявым голосом Аврутину, что тот может многих подвести, восклицал: остановись, одумайся! Вот и здесь на сцене, он столь же тонким голосом воскликнул: остановись брат Теодор, взгляни окрест себя, много ли у нас рыцарей, способных на дальние походы. Нам нужна своя земля, где могли бы мы собрать наших братьев. Не только в Иерусалиме засели язычники. Они рядом, есть такой край – Пруссия, дикие племена, отвергающие мирных паломников, убившие святого Адальберга. Их повелел Папа Римский обратить в истинную веру...

Стоп, стоп, стоп! – закричал Мирский, – поймите суть, вы же верховный магистр, вы же властитель, а в ваших словах звучат жалкие нотки, вы уговариваете, жалко пишете, а должны приказывать, у вас есть все основания для того, чтобы повелевать. Я же объяснял вам, кто такой был верховный магистр, а по- немецки Гохмейстер, фон Зальца. Это был хитрый и властолюбивый рыцарь. Здесь решается будущая судьба нашего края, это малый капитул. У фон Зальца есть веские основания для начала похода на Пруссию. Его поддерживают враждующие между собой Папа Римский и император Фридрих Барбаросса. Польский князь Конрад Мазовецкий призвал рыцарей избавить поляков от набегов язычников, он уступает ордену мемельскую землю. Это все понимают, кроме вас, играющего эту роль, давайте сначала.

Аврутин внимательно следил за действием, он понимал, что недовольство Мирского имеет основания, будь он, Аврутин, режиссером, он бы такого артиста, как этот инженер, и близко бы к сцене не подпустил. Но вот настала очередь и Аврутина, весь он был напряжен, словно сжатая пружина. И никак не мог расслабиться. Хорошо, что очередь до его героя в этот день не дошла.

Аврутин должен был играть потомка Барбароссы – чешского короля Оттокара, основавшего Кёнигсберг, а Эвелина по роли была его возлюбленной, прусской жрицей. Сцену повторяли несколько раз, но так и не получили одобрения Мирского. Мирский, по рассказам Эвелины, и раньше был недоволен первым актом пьесы. Ни один из самодеятельных актеров и близко не подошел к тому замыслу, который хотел воплотить на сцене режиссер. И тут появился Аврутин, из слов которого, Мирский сделал вывод, что театру повезло. Уверенный в способностях новичка Мирский дал ему одну из главных ролей в своей пьесе. Условие одно, сказал тоном приказа, вам придется отрастить бороду, никогда ни один парик не даст такого эффекта, как данные вам от природы рыжие волосы, у вас будет рыжая борода, такая же, как у главного героя, ведь он потомок Барбароссы. А все Барбароссы были рыжебородыми.

Пьеса называлась «Королевская гора». Именно так и переводится название прежнего города – Кёнигсберг. Но это не только потому, объяснил Мирский, что хотим напомнить о старом имени. Это ведь символично. Жизнь – равнина со своими рытвинами и ямами, надо все пройти и одолеть каждому свою гору. И если гора значимая, она становится Королевской.

Неделя прошла в ожидании новой репетиции. Мирский дал рукописные страницы, где были записаны слова чешского короля. Аврутин хотел прочесть всю пьесу, чтобы знать, о чем говорят другие персонажи, но оказалось, что всей пьесы, записанной в общую тетрадь, нет, каждому даны листки только со словами его героя. Аврутин выучил роль наизусть, к счастью, слов, было у короля не так уж много. Но в следующую встречу репетиции как таковой не было. Зал успели занять волейболисты. Расходились неохотно. Аврутин в дверях оказался рядом с Эвелиной, они встретились взглядами. Стало понятно, что и она не хочет расставаться. Они сели в один и тот же автобус. Эвелина жила в рабочем поселке на окраине города. Здесь

сохранились двухэтажные немецкие дома, возле каждого дома был свой сад. Около дома Эвелины росли раскидистые яблони. Был сентябрь, и ветви деревьев склонялись к земле под тяжестью плодов. Эвелина усадила Аврутина на скамейку под яблоней и пошла, как она сказала, на разведку. Пришла улыбающаяся и радостная. Дома никого не было. Отец ещё не приехал из командировки, а мать ушла на ночную смену. Квартира была однокомнатная. Но после общежития показалась Аврутину просторной. Делали ее просторной еще и высокие потолки, дом был старый, немецкий. Кафельная печка отражала мягкий свет лампы. Царила здесь идеальная чистота, на подоконнике расположились горшки с диковинными ярко красными цветами. В вазе на столе лежали яблоки с красным отливом. На торшере был красный абажур. Всё это сливалось в представление об отдельном ухоженном рае. Аврутин не мог даже помыслить о таком благостном житье. Любил ли он Эвелину? И что такое любовь? Определить точно он не мог. Не было у него ещё любовного опыта. А те рассказы, которых он в избытке наслушался и в техникуме и в бригаде сварщиков, давали совсем другое представление, нежели то, что проповедовалось почти во всех пьесах, которые ему удалось или прочесть или посмотреть. Вот и теперь, в пьесе Мирского король Оттокар, лишь однажды увидев прусскую красавицу, так полюбил её, что готов был немедленно начать крестовый поход и даже отказаться от своего королевства. А от чего мог отказаться он, Аврутин, ради Эвелины, чем пожертвовать? Ничего у него не было за душой. И даже, если роль в пьесе Мирского удастся, мало кому это станет известно. Фактически в этом заводском театре играли скорее для себя, нежели для зрителей.

Эвелина принесла на подносе бутерброды и красивый заварочный чайник, поставила на стол блюдце с медом. Они сидели рядом, почти соприкасаясь плечами. Аврутин краснел, даже заикался. И не рассказывал историй о своих творческих взлётах. Хотелось просто молча сидеть рядом. Эвелина пыталась расшевелить его, но он не отвечал на ее порывы. Один раз только поцеловал робко в щёку, даже не поцеловал, а просто коснулся губами.

Когда прощались, долго стояли, взявшись за руки в полутемном коридоре. Уходить Аврутин не хотел, но Эвелина начала торопить, говорила, что не успеет на последний автобус, ведь завтра рано вставать на работу, надо успеть выспаться. На прощание она передала ему пакет с бумагами. Сказала, чтобы сыграть короля, надо знать его историю. Смотри там, в общежитии, не показывай, предупредила Эвелина. В пакете оказалась сделанная на ротапинтере копия дореволюционной книги по истории Пруссии. В общежитие он добрался пешком только в полночь, но спать не хотелось, нашел в коридоре уголок, где стоял потрепанный диван и была лампочка, укрепленная над диваном. Стал читать, нашел страницы, где было написано о короле Оттокаре. Мирский был прав, когда требовал отрастить бороду. Ведь Оттокар действительно славился не только своими делами, но и рыжей бородой. Был отчаянным храбрецом. Богемское королевство его не устраивало, он жаждал быть императором всей Римской империи. Женился даже для этого на вдове короля Генриха. Значит, ничем не брезговал. Вряд ли он любил эту пожилую женщину. Признали его герцогом Австрии. А сколько крови пришлось пролить! Получил он и чешский престол. И вот заманчивая новая цель – Пруссия. Король охотно пошел на поводу у фон Зальца, шестьсот воинов – снаряженный отряд, настоящих воинов, закаленных в боях. И сам во главе. А прусскую жрицу придумал Мирский, и всю эту любовь. Конечно, все могло быть. И хорошая выдумка. Пусть на сцене будет любовь. Король и жрица. Аврутин и Эвелина. Придется преобразиться, войти в роль. В жизни Аврутин не был таким решительным, как его герой. Но теперь, понимал Аврутин ему дан шанс. И потом, как правило, об этом он читал, артисты, играющие на сцене влюбленных друг в друга, так входят в роль, что и в жизни продолжают сыгранную в пьесе любовь.

Рассказать бы о первом свидании сборщикам из бывшей его бригады, бурно бы обсмеяли. Да и женщины в отделе не поверили бы. Шептались о нем, хитро улыбались, когда он находил причину, чтобы подойти к столу, где за кульманом сидела и что-то чертила Эвелина. Стеснялся с ней заговорить и с замиранием сердца ждал дня репетиций.

Но последняя, решительная для него репетиция, когда его роль становилась самой главной, не способствовала развитию их отношений. Поначалу все шло хорошо. Мирский написал пролог к пьесе, рассказывающий о гибели Святого Адальберта. Он был прав. Невозможно понять суть завоевания Пруссии крестоносцами, если не дать историю Святого Адальберта. Задолго до крестоносцев он пришел на земли пруссов, пришел не с мечем, а со словом, с проповедями, хотел обратить в христианство пруссов, но не был понят. Во все времена добром не достигаются цели. И на смену добру приходит ложь. Играть Святого Адальберта Мирский решил сам. Был, конечно, неподражаем, когда славил Христа и распевал псалмы. Словно всю жизнь пел раньше в церковном хоре.

Мало того, что Мирский изобразил эффектно проповедника, он устроил целую лекцию. Артисты уселись в кружок, прямо на полу, а Мирский ходил кругами, и с каждым своим словом все более возбуждался. Он был влюблен в Адальберта. Вот что значит истинное перевоплощение! Аврутин понял, что своего короля он так не сможет полюбить.

Аврутин никогда раньше не слышал о Святом Адальберте, вообще был далек от религии, знал о первых подвижниках, несущим веру в Христа, об их страданиях в катакомбах, о гонении на них, все это была такая далекая история. Победили гонимые и стали гонителями. И все же такие люди, как Адальберт, вызывают гордость за человечество. Он был первопроходцем! – продолжал Мирский восхвалять своего героя. Конечно, роль Адальберта была выигрышной, он погиб за святое дело. Аврутин с удовольствием сыграл бы Адальберта, но все же Оттокар – главная роль, и рыжая борода, у Адальберта такой бороды не было. Мирскому и грим не нужен был. Мирский показал рисунок с изображением Адальберта. Маленькая бородка, как у Христа, простая изношенная накидка, посох в одной руке и крест в другой, вот и все его оружие.

Что любопытно, продолжал Мирский, его любили не только чехи, которые за просто своего епископа называли святой Войтек, для поляков он был Войцехом, для литовцев – Войтекас, и только пруссы не приняли его. Имя Войтек означает утешитель толпы, оно ему более всего подходило. Из княжеского рода, он мог бы спокойно и безбедно жить при королевском дворе. Но, видимо, была в нем особая святость, совсем был молодой, а уже избрали епископом. Была коронация императора и ему доверили возложение короны, значит, доверяли и церковники, и знатные люди. Он отказывался от почестей и даров, на четыре года сам себя заточил в Римский монастырь. Был бесстрашен и непреклонен в своей вере.

Мирский поднялся и уже войдя в роль Святого Адальберта, продолжал: Почему преследуют женщину? В чем ее подозревают? Говорите, что застали в прелюбодеянии со священником и за это она должна умереть? А если это по обоюдному согласию? И представляете, Адальберт, не обладавший физической силой, двинулся против разъяренной толпы.

А сколько ему пришлось перестрадать. Черным стал для него год, в котором князь Болеслав осадил не желавший подчиняться Праге город Либицу. Четверо братьев Адальберта были убиты. Близился тысячный год, ждали конца света и надо было приобщить к христианству язычников, чтобы открыть им дорогу в рай. Адальберт отправился в Пруссию. Он отпустил назад корабль и охрану, оставив с собой несколько верных спутников. Он бесстрашно вошел в селение. Собрал на площади людей, говорил, что хочет вырвать их из лап дьявола, открыть им истинного Бога. Пруссы смеялись, стучали о землю палицами, кричали: убирайтесь вон! Он говорил на польском языке, понятном пруссам. Пруссы постоянно воевали с Польшей, поэтому видели в нем польского шпиона. Толпа набросилась на Адальберта, его забили насмерть камнями, голову отсекли и водрузили на высокий шест.

Тело его выкупили у пруссов за золото, князь Болеслав дал столько золота, сколько весит тело. И теперь понятно, что мирными уговорами ничего не добиться. Только мечом можно заставить их принять истинную веру. И как следствие – крестовый поход...

С Мирским все согласились – прекрасный пролог для пьесы. Теперь понятно, что словами язычество было не искоренить. И в то же время закрадывалась супротивная мысль,

а почему надо было их принуждать к другой вере. Но Аврутин своих сомнений не высказывал. Мирскому возражать или спорить с ним, было себе дороже.

Потом вновь, в который раз, репетировали первый акт, в котором король Оттокар на сцену не выходил. Хотя речь шла исключительно о нем. Шли сцены подготовки к крестовому походу и Эвелина в них тоже не участвовала.

И вот пришел черед Аврутина облачиться в королевскую мантию. Он сидел посередине зала на сделанном в столярных мастерских троне, и хитрый Герман фон Зальца умело прельщал его выгодами похода на Пруссию. У Аврутина уже подросла рыжая борода, такая же, как у всех предков Оттакара, и Мирский был доволен его видом и тем, как впору пришлось ему мантия, пошитая еще до появления Аврутина. Поначалу Аврутин старался говорить властно, внятно, но вполголоса. Мирский возмутился, где вы видели короля шёпотом отдающего приказы. И не вставайте с трона. Хохмейстер ордена- проситель. Он обманывает короля, у него почти нет войска, ему необходима поддержка короля. Аврутин стал произносить слова громко, отчетливо. И опять не угодил. Что вы кричите, как на одесском привозе! – возмутился Мирский.– Здесь прекрасная акустика, можно даже говорить шёпотом. Спорить с Мирским было бесполезно. Возражения вызывали у него поток новых претензий. И вовсе вывела его из себя игра Аврутина в момент знакомства со жрицей. Появление Эвелины в длинном полупрозрачном платье с венком на голове очаровало Аврутина. Хохмейстеру не надо было его уговаривать. Он почти не слышал как инженер, игравший фон Зальца, объяснял, что эта жрица пленена в священном лесу, что она умеет предсказывать судьбу, что она всегда остережет короля от опасности. Король-Аврутин встал с трона и пошел навстречу Эвелине. Стоп, закричал Мирский, лицо его налилось краской и это не предвещало ничего хорошего. Кто вам сказал, что король должен встать с трона, разве написано об этом в пьесе, разве так могло быть в жизни. Жрица должна пасть к ногам его! Стоп. Начинаем снова. Действие повторяли раз пять, и с каждым разом Аврутин все больше путался и все более раздражал Мирского, возлагавшего на него большие надежды и видевшего, что эти надежды рушатся.

Аврутин сделал большую ошибку, когда раньше к месту и не к месту говорил о своем, якобы, покровителе – Товстоногове. Для Мирского – это был чуть ли не Бог. Он вперял свой взгляд в Аврутина и говорил, что Товстоногов не стал бы возиться с ним. Ему нужна была полнейшая искренность. Он видел трех китов в нашем деле. Каких? Аврутин молчал. Напоминаю, продолжал Мирский: – это мысль, вымысел и правда. Правда – главнейший элемент. Правда жизни она так заразительна! Но надо уметь её передать! Все, как всегда, слушали Мирского, не возражая, хотя Аврутин не понимал, какая правда жизни в этом короле, непрерывно затевавшем новые войны. Нужна ли была ему Пруссия? И столько крови пролили. Ведь пруссов, тех, кто не хотел принять христианство, жестоко убивали. Аврутин молчал, а Редня прямо высказал это: Это все немцы, что им не сиделось в своем королевстве? Как раньше, так и в наш век!

Мирский согласился, но потом долго разъяснял, что любой исторический спектакль – это взгляд на современность. Мы тоже пришли сюда в этот край, и это была не прогулка, а кровавый путь. И наставлял, учите роль, чтобы без запинки, чтобы от зубов отскакивали слова. Чтобы разбудил вас ночью, и вы с любого места могли декламировать. Выучить роль было нелегко. Путались слова. Тихо, отвернувшись, хихикали те, кто не получил роль. И главная беда была в том, что Мирский полностью усомнился в способностях Аврутина. И даже как-то подколот: вы же учились у Товстоногова, даже играли там, и чему вы научились. Бегаете как ошалелый по сцене! Вы король, вы должны ходить величаво. И в конце концов пригрозил, что лишит роли. Эвелина больше не звала в гости. Разрешала провозжать, угощала яблоками, но в дом не впускала. На работе тоже старалась показать, что никакого интереса к Аврутину не испытывает. Окончательно их связь порвалась, когда над театром Мирского сгустились тучи.

В парткоме завода знали о готовящемся спектакле, но особого значения пьесе не придавали, ничего антисоветского в ней не усматривали. На сцене всегда любят изображать королей, у Шекспира так сплошь короли и принцы, и повсюду его пьесы разрешены, если про короля, это ещё не значит, что пьеса обращена против трудового народа. Но беда в том, что про пьесу проведали в обкоме партии в идеологическом отделе. Было ведь негласное решение не копать в прошлом. Край советский, вся его история начинается с сорок пятого года, а тут прославление крестоносцев, чуждого нам движения. Вызывали в обком даже директора завода. Директор был важной персоной, трижды лауреат всяких премий, с иконостасом орденов на груди, награды получены в военное время. Был он назначен Москвой и Москве подчинялся. Ходил по заводу важный, как гусь, вышагивал с пятки на носок ставя до блеска начищенные туфли. Носовым платком проверял подготовленные к сдаче корабли. Вытирал медные детали и приборы. Платок должен был оставаться чистым. Мирский даже приводил в пример этого важного человека. Говорил, вот учись у него королевской походке.

Но когда директор после посещения обкома вошел в зал, где шла репетиция, не был он похож на королевскую особу. Лицо было красным, галстук сбился набок, говорил он тихо, словно гусь шипел, и всё наседа на Мирского, а тот еще больше уменьшился в размере, согнулся, сжался. А директор возвышался над ним, взмахивал рукой: – Как вам в голову пришло прославлять немецких крестоносцев, этих псов-рыцарей, этих захватчиков, поверженных Александром Невским. Это они положили начало воинствующему духу пруссаков. Это они заложили основу для фашистского диктата! Вы хотите продаться немцам! И было件件но, что это он повторяет те слова, которые обрушили на него в обкоме партии. Надо признать, что и историю он тоже знал неплохо. Сыпал именами рыцарей и королей, разоряющих простой народ. И изложив свои понятия об истории, он резко повысил голос и перешел на крик: Чтобы духу вашего не было здесь, Мирский, к трепаной матери убирайтесь немедленно... У нас не бродячий цирк, а режимный завод!

При чем здесь был режим на заводе, то есть постройка военных кораблей и самодеятельный театр, Аврутин понять не мог. В тот же вечер он очутился у дома Григория Ефимовича, с которым не виделся уже несколько недель. Инженер впустил его не сразу. В комнате пахло гарью. Что-то жёг Григорий Ефимович. И пепел был на столе. Обычно улыбающийся, приветливый, он выглядел усталым и испуганным. Про скандал с театром он всё знал и знал больше того, что было известно Аврутину. Знал он и то, что обком реагировал на чей-то донос. Откуда им было знать, что за пьеса готовится к постановке. Значит, среди самодеятельных артистов был кто-то обиженный Мирским. Это мог быть, кстати, и местный писатель, чью пьесу о трудовых подвигах Мирский отказался ставить. Аврутин спросил: оставят ли Мирского. Григорий Ефимович сказал, что это режиссёр от Бога, что им гордиться можно, обвинять его в потворстве немцам, в пропаганде фашизма совершенно нелепо, ведь его родители погибли в Бабьем яру, сам он чудом выжил, его спасла крестьянка, выдав еврейского малыша за своего сына. Но времена меняются. Ты, конечно, далёк от этого, сказал он, а я уже почувствовал на себе. Оттепель хрущёвская закончилась. Опять вылезли из своих нор сталинисты. А из власти они и не уходили, просто притворялись овечками. Если ты помнишь, твоему учителю Товстоногову тоже доставалось от властей. Но тот выкидывал штучки похлеще Мирского. Чуть театра не лишился, когда на занавесе поместил пушкинские слова: «Догадал меня черт родиться в России с умом и талантом!» Помнишь, это в спектакле «Горе от ума». Аврутин не знал и не помнил, но на всякий случай кивнул.

Григорий Ефимович нервно мерил шагами комнату. Аврутин не понимал, почему его старший товарищ так нервничает. Ну, уберут Мирского, найдётся другой на его место, менее грубый, оставит роль ему, Аврутину, а если другую пьесу задумает ставить, надо сразу с ним общий язык найти. А с Мирским уже ничего не получится. Слишком нервничает... И возможно, прав директор завода, стоит ли восхвалять тевтонских рыцарей. Высказал свои сомне-

ния Григорию Ефимовичу. Тот сидел насупившись, долго молчал, а потом стал объяснять тоном учителя, что было и кто что значит. Конечно, плохо, что историю люди познают из пьес и романов, далеких от истины. Читали все «Айвенго», играли в детстве в благородных рыцарей. Вот и Мирский все несколько идеализирует, он по натуре романтик, впрочем, таким и должен быть настоящий театральный режиссер. И в принципе крестоносцы тоже были романтиками, считали себя исполнителями божьей воли, обязывались нести в мир идеи Христа, освободить Иерусалим от язычников – цели высокие. Был такой Петр Пустынный, так тот в рубище, без обуви с крестом в руках бродил по странам, призывал в христово войско. Разжигали страсти паломники, посещавшие святые места, приносили вести о разрушении христианских святынь. Римские папы обещали отпущение грехов всем, кто шел освобождать святые места. Там ведь хозяйничали турки-селеджуки, ислам становился мощной силой, боялись его распространения. В наше время такая же картина, исламисты повсюду, но уже похода не соберешь, не то время, но не исключено, история любит повторения. И ничему не учит. Ведь сколько людей гибло тогда – шли невооруженные, шли разорившиеся крестьяне, получали потом свободу, если выживали в походах. Мало кто доходил до Иерусалима, еще пока до моря добирались, били их и болгары, и венгры, да и они сами многих жизни лишили. И деться некуда, в Европе не сладко было, моровая язва косила. Рыцари те, конечно, были более организованы. И все их уставы много о чести говорили и святости. А тевтонский орден образовался и вовсе не с завоевательными целями, при осаде Иерусалима был госпиталь, госпиталю дали рыцарские права. И тамплиеры, и госпитальеры выступали в защиту бедных, униженных, во всяком случае, так было записано в их уставах. Они не имели права на собственность. Бедность, безбрачие и послушание – было такое правило поначалу. Все начинается с добрых и прекрасных порывов. Госпитальеры, превратившиеся в тевтонцев, полагали, что ведут борьбу за святое и правое дело. Но кровь порождает кровь. Поддавшись призывам рыцарей и Римского Папы, обнищавшие крестьяне устремились в Палестину, чтобы освободить Иерусалим. Был даже поход детей, считали, что невинные души обережет Бог, но гибли не десятками, тысячами. И добро превращалось в зло. Никого нельзя насильно втискивать в выдуманный рай. Христа надо принимать сердцем, а не по принуждению. Большевики ведь тоже хотели принести в мир равенство и счастье, а что произошло на деле, этому мы уже с тобой свидетели. У меня в роду многие прошли через тюрьмы и ссылки. Аврутин сочувственно вздохнул, но про отца не стал рассказывать, пусть останется только его тайной. Начнут проверять личное дело, хлопот не оберешься. Вот и Григорий Ефимович вроде бы и приоткрылся, но долго наставлял при расставании: только прошу, не говори о нашем разговоре никому, никому и даже Мирскому, я уже как-то критиковал его пьесу, стал чуть ли не врагом, потом помирились, человек он, конечно, выдающийся... Аврутин кивнул и пожал плечами. Почему надо так всего остерегаться, почему так все боятся прямых высказываний... Сейчас ведь не при Сталине, когда за одно неосторожное слово можно было жизни лишиться, сгинуть, как и отец, ни за что, сегодня многое сами правители раскрыли, только, наверное, страх остался и у них, у правителей страх, да и сами они были во всем замешаны...

В выходные решили всей театральной группой поехать на косу в Лесное, где был заводской пансионат. Аврутину сказала Эвелина, что затеял поездку Мирский. Хочет попрощаться со всеми. Его, что, выгоняют? – спросил Аврутин. Нет, ответила Эвелина, он сам уходит, его приглашают в Нижний Новгород, в нормальный театр. Такими режиссерами грех раскидываться. У нас ещё пожалеют, что лишились его... Не будет театра на заводе, а могли бы на всю страну прославиться, в Москву бы на фестиваль с нашей пьесой поехали... А тут в парткоме вообще свихнулись, выдумали, мол, пьеса немцев прославляет... Да и директор завода после вызова в обком просто взбесился.

Какая чушь получилась. сказал Аврутин, и откуда они узнали в обкоме, что им там делать нечего. Нашлись стукачи, ответила Эвелина и как-то зло посмотрела на него.

Был конец сентября, но погода была почти летняя. Море, накопившее тепло, теперь не хотело остывать. И можно было еще купаться. А в дюнах, в углублениях, так называемых сковородках, любители загара, те, кто прозевал лето, лежали, раскинув руки и подставив солнцу свое лицо. Ещё в автобусе Аврутин чувствовал на себе колкие взгляды. Так получилось, что он сидел один, в некотором отдалении от общей группы. Эвелина пересела к подругам. Что там говорят за его спиной, он разобрать не мог. Но потом, когда уже вышли из автобуса, он хотел узнать, с кем его поселили, спрашивал, но все от него отходили или мычали что-то невразумительное.

В конце концов, оказалось, что ему достался отдельный номер. Это ему даже понравилось, можно будет договориться с Эвелиной, пригласить к себе. Правда, номер был почти без удобств, так только, для того, чтобы провести ночь. Ни душа, ни туалета. Был только умывальник в углу, из которого текла рыжая ржавая вода. Но это не могло испортить настроение Аврутина. И все же, чувствовал он, что вокруг него образуется некая пустота, вроде он и с компанией, и вроде бы – один. Даже Эвелина всё время хочет показать, что никакого отношения к нему не имеет. Распаковав свои вещи, приведя себя в порядок, все начали сходиться к берегу моря, туда, где на поляне уже начинал разгораться костёр. И уже нанизывали мясо для шашлыков на шампуры и открывали бутылки. День выдался теплым. Хотели сначала искупаться, но вода была холодной и море было слишком беспокойным, накатывало на берег такие высокие волны, что затею с купанием решили отложить на завтра. И всем хотелось выпить и перекусить. Чтобы принять посильное участие в приготовлениях к застолью, Аврутин стал искать в округе сухие сучья и носить их к костру. Но и здесь не получил одобрения. Кто-то из артистов сказал, не обращая к нему, но явно о нем, мол, есть люди, которые не понимают, что надо собирать только сухие ветки, а не ломать с деревьев первые же попавшиеся. И еще кто-то добавил, что столько дерева жечь не надо, что здесь мы не жжем опознавательных костров, а разожгли огонь для шашлыка, и есть специальные брусочки. И шашлык хороший тоже требует особого огня, чтобы не дым пускал, а дышал жаром.

Аврутин отошел в сторону, сел на поваленное дерево, отсюда ему был виден костер и здание пансионата, моря не было видно, но шум прибоя становился все сильнее и заглушал все остальные звуки. Ему очень захотелось уехать, пока еще ходят автобусы. Никто бы не хватился. Чужие люди, видящие только себя. Но здесь Эвелина, и это самое главное, ему дан шанс, не на сцене, а в жизни объяснить Эвелине, как она дорога ему. Что, Мирский, это ведь не знаменитый режиссёр, найдется ему замена, хорошо бы самому получить его место. Во всяком случае, с его уходом можно будет не беспокоиться за свою роль. Он, Аврутин, знает всю эту роль наизусть, вряд ли кто-нибудь сумеет быстро выучить слова. И если спектакль разрешат, и он удастся, это будет хорошим началом для всей будущей жизни. Уютно и спокойно было сидеть здесь среди сосен и думать только о хорошем, и думать об Эвелине, о ночи, которая предстоит, об их первой ночи здесь в пансионате на берегу моря.

Уже там, на сооруженном из найденных досок столе, начали застолье, когда он решился тоже подойти и так удачно получилось, что встал он рядом с Эвелиной. Шашлыки удались на славу, сочные, румянистые. Произносились тост за тостом. Почти все восхваляли Мирского, желали, чтобы он остался, говорили о его таланте, клялись в любви к нему. Нормировщик из корпусного цеха, вихлястый и женоподобный говорил дольше всех. И в конце своей длинной речи после восхвалений повысил голос и почти выкрикнул, словно не на дружеском застолье был, а на сцене театра. – Мы все знаем, кто донес, мы догадываемся, ему не место среди нас! И все поддержали нормировщика. И Аврутин заметил, что многие смотрят в его сторону, но не придавал этому большого значения. Возможно, тот, кто донес, стоял где-то рядом, за спиной. Всем не хватало места за столом, стояли вторым рядом. Эвелина несколько раз порывалась что-то сказать, начинала и обрывала речь на полуслове. Наконец она тронула его за руку и сделала шаг в сторону от стола, он двинулся за ней. Это было великолепное решение – уйти

от всех, остаться наедине друг с другом, и не нужны ни эти шашлыки, ни салаты, ни копченая рыба. Когда они отошли от стола и обошли костер, он потянул ее за руку в сторону пансионата, но Эвелина резко остановилась. Говорить было трудно. Слишком шумным сделалось море. Аврутин сразу понял, что Эвелина чем-то напугана и раздражена. Она прижалась к нему, ее губы были совсем рядом с его губами. Об этом было можно только мечтать! Но всё разрушалось её словами.

Зачем ты это сделал! Зачем! Я хочу понять, зачем? – строго спросила Эвелина. Он заметил слёзы на ее глазах. Что я сделал, что не так, ведь это прекрасно, мы вдвоём! – он попытался её обнять, она отстранилась. Ты был обижен, ты лишился роли, продолжала Эвелина, но это не значило, что надо губить всех, зачем ты пошел в партком? Теперь до него стал доходить смысл сказанного. Так вот почему все сторонились его, считают, что он доносчик, что из-за него запрещена пьеса, из-за него уходит Мирский. Какая глупость, – закричал он, – и ты поверила? Неужели ты поверила! Он почувствовал, как какой-то внутренний холод пробирается в его тело. Самое обидное было не в том, что его заподозрили в стукачестве, а в том, что Эвелина в это поверила. Как её разубедить, какие привести доказательства, да его вызывали в партком, да он был там, но речь шла не о театре, сначала надо было уладить все с комсомольскими взносами, а потом еще раз, когда набирали в народную дружину, решили, если он без жены, может и подежурить, но отказался, не мог же он пропускать репетиции... Неужели ты поверила? – повторил он. – Я сначала не поверила, стала оправдываться Эвелина, – мы всех перебрали, у Мирского безошибочное чутье, он точно вычислил тебя. Какое у него чутье, возмутился Аврутин, он эту пьесу засушил, он ее уже полгода репетирует. Но эти его слова были встречены как ещё одно доказательство того, что именно он виноват в смещении Мирского. Ты просто завидовал ему! – крикнула Эвелина. Он самый способный режиссёр, а ты ни на что не способен! И после этих слов оттолкнулась от него, буквально отпрыгнула и скрылась за соснами. Он пытался остановить, кричал, но голос его терялся в шуме моря.

Самым простым было бы решение уехать немедленно, но такое действие стало бы ещё одним доказательством его вины. И Аврутин побрел к общему столу. Ему надо было поговорить с Мирским, здесь всё зависит от мнения Мирского. Пусть режиссёр, как и Эвелина, считает будто не способен ни на что, но нельзя допустить, чтобы он связывал свой уход с мнимым доносом. Он пожилой разумный человек. Как могло такое придти ему в голову.

Застолье уже перешло в ту стадию, когда никто не слушал друг друга. Но все были добры к своим соседям, обнимались, клялись в верности, постоянно слышалось: я тебя уважаю, ты меня уважаешь. Ни Мирского, ни Эвелины у стола не было. Режиссёра Аврутин нашел в пансионате. В вестибюле они столкнулись. Мирский шел с полотенцем на плече, умылся перед сном. Ярко горели лампочки дневного света, делавшие лицо мертвенно бледным. Было сразу видно, что человек устал, он двигался осторожно, словно боялся упасть. Обычно подвижные черные глаза застыли и смотрели в одну точку за окном. Что-то невидимое хотел он там разглядеть. И когда Аврутин окликнул его, Мирский остановился и с недоумением посмотрел на того, из-за которого, как он был уверен, рушилась жизнь. Говорить ни о чем Мирский не хотел, выслушивать оправдания не пожелал. И видимо, чтобы отвязаться и не затевать спор, сказал, что не держит зла, что в молодости людям свойственно совершать неразумные поступки, о которых потом приходится сожалеть. Но ведь я могу доказать, что нет моей вины, я найду того, кто донес, я обязательно найду, пообещал Аврутин. Вам не придется долго искать, усмехнулся Мирский, загляните в себя, в каждом из нас живут и бог и дьявол, добро и зло, попробуйте изгнать зло, для этого не надо вставать на котурны и вылезать вон из кожи. Людей ценят по их поступкам. Вы же выдумали себе иную жизнь. Я сразу понял, что вы фантазер. Фантазеры нужны в театре, фантазеры, но не предатели. Вас губит словоблудие, вы не сможете никогда совершить смелого поступка. Аврутин закашлялся, замотал головой, вы ошибаетесь во мне: пойду в партком, пойду в комитет, я докажу им, что пьеса нужна, что нам нужно знать исто-

рию, в этом ничего антисоветского нет. Молодой человек, устало произнёс Мирский, кто вам поверит, в лучшем случае вас упрячут в психушку. После этих слов Мирский демонстративно повернулся и, сделав несколько необычно широких шагов, скрылся за дверью своего номера.

Он был, пожалуй, единственный, кто сейчас предпочел койку в пансионате веселию у моря. Эвелину следовало искать там. И Аврутин вернулся к догорающему костру, у которого уже никого не было, потому что почти все вышли на берег и столпились у кромки прибоя. Разгоряченные спиртным, желающие найти выход для накопившейся энергии, жаждущие любви, они стояли у края вод, и с хохотом отскакивали, когда на берег набегала очередная волна, те же, кто не успел, тоже радовались, получив в лицо заряд соленых брызг. В плавках, в купальниках, молодые, загорелые, они все были полны почти ребяческого задора, но никто не решался войти в воду и поспорить с волнами, которые становились все выше и выше. Усиливающийся ветер, нагнавший темные тучи, срывал пену с их вершин. Волны накатывались одна за другой. Давали передышку воде на минуту, а потом с новой силой вздымали ее к небу. Девушки подбадривали самого молодого, крановщика из четвертого цеха, он был сложен как Аполлон, говорили, что он мастер спорта и в самодеятельный театр попал случайно, его сманил Мирский, собираясь сделать из него героя-любownika. Но быстро выяснилось, что этот Аполлон косноязычен. Этот юноша попытался войти в воду, но первая же волна так хлестанула его, что свалила с ног.

Он был много сильнее Аврутина, но не смог устоять, однако именно его падение подтолкнуло к воде. Сейчас или никогда. Аврутин решил, что сама судьба предоставляет ему случай доказать, что все ошибаются в нем, что Эвелина поймет, кого она теряет. Он поискал её глазами и не увидел. Ей расскажут, подумал он. И улучив момент, когда очередная волна разбилась о берег, а новая только нарастала вдаль, он ринулся в воду. Крики предостережения он уже не слышал. Ему некуда было отступать. Он приготовился встретить волну, она надвигалась, затмив небо, он понимал, что ему не устоять и нырнул в нее. Где-то над головой она пронеслась. И когда он вынырнул, он точно попал в ложбину между волнами, и это позволило ему отдышаться. Новая волна была еще выше прежней, он не успел поднырнуть и его вынесло на берег к ногам театралов, некоторые из них даже аплодировали ему, но он не услышал аплодисментов, потому что очередная волна не дала ему зацепиться за берег, она накрыла с головой и потянула в море, навстречу новым зарождающимся вдаль волнам. Теперь его начало швырять с новой силой. И он нахлебался соленой воды. Проще всего было прекратить сопротивление. И на мгновение такая мысль мелькнула в его голове. Пусть закончится жизнь, стоит ли сожалеть о ней, если все отвергают тебя. И вдруг как проблеск – что же ты делаешь, ведь будут говорить, вот стукач покончил с собой, не выдержал, раскаялся. Нет, он не позволит злословить, он должен выжить. И набрав воздуха, он нырнул. Дно было каменистое, и он стал перебираться к берегу держась за камни. Он раскровянил руки, тело тоже горело ушибленное волнами, он цеплялся за камни из последних сил. И когда вынырнул, то совсем рядом увидел берег, и испуганное лицо Эвелины. Он обрадовался и прозевал волну. Его опять схватила масса воды и потащила от берега. Так повторялось несколько раз, он пытался выкарабкаться на берег, а волны старательно оттаскивали от берега и не хотели отпускать свою жертву. И когда на горизонте показалась самая высокая волна, наверное, с десятиэтажный дом, и он понял, что настало последнее мгновение, ему пришлось спасительное решение, он сжался, обхватил голову руками, поджал колени, приняв вид эмбриона. Он отдался воле случая. И волна пощадила его, она подхватила сжавшегося в комок пловца и с такой силой швырнула на берег, что он упал даже не на песок, а на то место, где росли низкие сосны, и другая волна уже не могла сюда докатиться, она не смогла вернуть его морю. Он спасся, но торжествовать победу не мог, наглотившийся соленой воды, весь в ушибах и ссадинах, он не мог даже пошевелиться. Он увидел, как к нему бегут и кричат, но ничего не слышал, уши его были забиты водой, он попытался встать, но едва поднялся, как сразу упал и потерял сознание...

Очнулся Аврутин в больнице, не сразу, но догадался где он, глядя на окрашенные масляной краской голубые стены и белый потолок. Была забинтована грудь и левая рука, он попытался повернуться, остро кольнуло под ребрами, пошевелил пальцами руки, здесь все было нормально, главная боль угнездилась в голове, стоял слышный только ему гул, и ломило виски. Рядом на койке лежал небритый старик, а ещё через койку совсем молодой парень с загипсованной ногой. Аврутин понял, что он попал в травматологическое отделение. Надо было бы пойти в туалет, но одежды не было. Рядом с кроватью стояла утка. Под подушкой нашел трусы. Собрался уже встать и пойти на поиски туалета, когда в палату, окруженная свитой врачей и сестер, вошла заведующая отделением – огненно-рыжая женщина с золотыми зубами. Кровать Аврутина была первой на её пути.

Ну и как наш очередной герой? – спросила она. Молодой и худущий врач стал объяснять. Трещина в ребре, многочисленные ушибы. Пить надо меньше, заключила заведующая. Я не пил, возразил Аврутин. Вы все так говорите, а вчера привезли невменяемого. Это волны, попытался объяснить Аврутин. Еще чище, возмутилась заведующая, полезть в море в пьяном виде может только идиот! Кстати у него сотрясение мозга, подсказал выглядывающий из-за ее спины длинноволосый врач. Рентген, капельница, томограф и все анализы, распорядилась заведующая. Верните одежду, попросил Аврутин. Одежду вернуть, согласилась она. Превозмогая боль под ребрами, он встал, и когда ушли врачи начал свой поход по коридорам, все разыскал и даже купил газету в киоске на первом этаже. Потом закрутилась череда процедур, и он только успевал перемещаться от одной медсестры к другой. Боль в голове немного прошла, но все равно стоял глухой гул. Это было самое неприятное. Через два дня был день посещений. После пяти стали приходиться родственники. Аврутин никого не ждал. И к старику и к молодому его соседу пришли женщины. Стали разворачивать свертки. Запахло копченостями и солеными огурцами. Он отвернулся к стене и сделал вид, что спит. Сначала просто лежал с закрытыми глазами, а потом и задремал по-настоящему.

Его разбудил знакомый голос. На стуле около его кровати сидел Григорий Ефимович. Облаченный в белый халат, с длинными спадающими на плечи волосами, его наставник мало чем отличался от здешних врачей. Пожалуй, держался только более скованно. Аврутин обрадовался, улыбнулся и протянул другу здоровую руку. Рукопожатие получилось слабым и вялым. Ты можешь ходить, спросил Григорий Ефимович. Аврутин встал. Пойдем в коридор, там есть диван, сказал он. В коридоре в закутке стоял выдавший виды диван. Он служил постелью для больных в периоды, когда в палатах не оставалось свободных мест. Сейчас он был не занят. Аврутин откинулся на спинку и вытянул ноги. Григорий Ефимович сидел напряженно, словно ему вставили штырь в позвоночник. Аврутин сразу понял, что его наставник чем-то встревожен. Вы не бойтесь за меня, сказал Аврутин, неделю больше не продержат, так, ушибы и немного голова. Скажите нашим в техотделе, чтобы не волновались. Под нашими понималась одна Эвелина. Никто другой, как понимал Аврутин, волноваться не будет. Да и не было ему дела до их волнений. А что с головой, спросил Григорий Ефимович. Сотрясение, ответил Аврутин. Это хорошо, почему-то обрадовался инженер. И стал полупшепотом рассказывать о том, как все складывается с театром. Вести были плохие. У Мирского сделали обыск. При чем в его отсутствие, как раз в тот день, когда уехали к морю. Нашли Солженицына, Архипелаг ГУЛАГ, выпуск «Посева». Возможно, подкинули специально. Мирский уехал из города, никто не знает, куда он подался, рассказывал Григорий Ефимович. Старик не понимает, что в нашей стране скрыться невозможно. Почти всех ваших артистов сейчас тягают в КГБ, хотят сотворить дело. И даже пустили слух, что ты именно подтолкнул Мирского к постановке этой злосчастной пьесы. Так что не спеши выписываться, жалуйся на головные боли, возможно, все дело замнут и тебя оставят в покое. Аврутин почти ничего не понял, какой Солженицын, что за «Посев», и вообще, что за ерунда, ведь пьесу начали репетировать, когда он еще и не слы-

шал про этот театр. Но если его не станут вместе со всеми допрашивать, если он отлежится в больнице, это окончательно убедит Эвелину в его стукачестве.

Мне нечего скрывать, сказал Григорию Ефимовичу, почему-то тоже перейдя на шепот, чего мне бояться, я пойду и расскажу, что Мирский гениальный режиссёр, что его не преследовать надо, а взять в областной театр, мне есть с чем сравнивать, я был в БДТ и на Таганке. Твои фантазии там никого не убедят, усмехнулся Григорий Ефимович. Ты подумай лучше о себе. И пьесу дай мне, прочту, легче будет защитить тебя. Откуда у меня пьеса, сказал Аврутин, у меня только запись моей роли была. Эх, зря, сказал Григорий Ефимович и сразу заторопился, стал крутить головой, словно высматривая не прячется ли кто-нибудь за спинкой дивана и не подслушивает ли их разговор, подозрительно посмотрел на дежурную сестру и стал процашаться. Спросил, что принести. Ничего не надо, сказал Аврутин.

На следующий день он упросил заведующую выписать его. Бюллетень она давать не хотела, прочла целую лекцию о вреде пьянства, шумела на всю больницу, махала короткими руками. А когда она ушла, старшая сестра сжалилась над ним, выписала бюллетень и сказала – вы не смотрите, что Афанасьевна, так звали здесь все заведующую, кричит, она человек отходчивый, я дежурила, когда вас привезли, да было наличие алкоголя в крови, но не такое уж большое, чтобы шум поднимать, а Афанасьевна наша любит всех поучать, но душа добрая, сейчас пойду и подпишу бюллетень у неё. И действительно, пяти минут не прошло, как Аврутин получил желанный голубой листок с печатью. Он аккуратно сложил его и положил в карман халата. Ведь без этого листка запросто мог лишиться работы. С прогульщиками на заводе не церемонились.

В общежитии его ждал вызов в милицию, зачем и почему он не мог сразу догадаться, ведь если это по театральным делам, то, наверное, таскают в КГБ. Спросить было не у кого. Эвелину послали в командировку в городок на Волге, где проектировали военные корабли. Телефон Григория Ефимовича не отвечал. День сложился суматошный. Шли противопожарные учения. После обеда всех выгнали из отдела. Люди в начищенных до блеска касках разворачивали шланги, суетились. Потом появились работники из лаборатории, все в противогазах, похожие на инопланетян. Женщины из конструкторского уселись на тележки кар. Смеялись, рассказывали свои истории. Когда подошел к ним, сразу смолкли. У Аврутина было тяжело на душе, неужели предстоит вот так быть всё время отверженным, испытывать постоянно молчаливое презрение, стать козлом отпущения, и вбирать в себя накопившийся у них гнев и страх вместо того, кто на самом деле виновен. И гнев людей тоже понятен – стукачей на заводе не любили, да и только ли на заводе – нет слова уничижительней, чем прозвище – сексот, секретный сотрудник...

Хорошо, что вызывали не днем, а к шести часам вечера, если бы днем, пришлось отпрашиваться, показывать этот вызов, а так после работы, сразу с завода и поехал – прошел через поле и как раз подоспел трамвай. Всего несколько остановок до кинотеатра. В районном отделе милиции хмурый дежурный с красными глазами объяснил, что нечего было сюда приходить, достаточно было позвонить и все бы объяснили. Оказывается, с Аврутиным хотел встретиться сотрудник из красного дома, так в городе называли КГБ. Но не в это здание надо было придти, а в гостиницу, в номер 666. Аврутин слышал и раньше, что встречи назначают в разных местах, что есть специальные тайные квартиры, есть номера в гостиницах. Вот и номер такой злоеущий. Все, что связано с КГБ, всегда было покрыто тайной, но такой тайной, что она вскоре становилась известна всем. Несмотря на обязательные расписки о неразглашении, за рюмкой водки, в откровенных беседах все всплывало наружу.

Гостиница эта была на окраине города, в старом здании с черепичной крышей. И пустая комната с таким дьявольским номером оказалась обычным одноместным номером с тумбочкой у кровати и рукомоёйником возле двери. Посередине стоял деревянный видавший виды стол. Никаких инструментов для пыток на столе не лежало. Из-за стола поднялся навстречу Авру-

тину низкорослый седой человек в штатском, с нависшими на глаза седыми бровями и широкой улыбкой и пригласил сесть. Эта обстановка и вид сотрудника всесильных органов успокоили Аврутина. Явно здесь, в этой комнате, никого и никогда не пытали и все страхи надо оставить, просто хотят побеседовать, и, наверное, для таких бесед эта комната в гостинице, чтобы не пугать людей. А как это у них называется, вспомнил Аврутин рассказы Григория Ефимовича, провести предупредительную беседу. Аврутин сидел спокойно и молчаливо смотрел на сотрудника, тот тоже молчал, не отводя своего сверлящего взгляда. Наконец нарушил молчание: вы знаете, как много приходится работать, пожаловался он, зачастую люди не понимают нас, но, надеюсь, мы найдем общий язык. Аврутин молчал. Да, забыл представиться – зовите меня Петр Прокофьевич. По тому, как он запнулся, произнося отчество, Аврутин подумал, возможно, имя это вымышленное. Вас, как я понимаю, именуют Вилор. В честь вождя названы. Аврутин кивнул. Да, протянул Петр Прокофьевич, имя это обязывает, а вы позволили втянуть себя в недостойное имени событие. Да, есть ещё люди, которым не нравятся наши успехи, есть, которые хотели бы остановить наш победный путь к коммунизму... Он замолчал, постучал по столу костяшками пальцев и продолжил: – Почему мы должны прославлять чужеземных правителей? Этой пьесой ваш Мирский хотел доказать, что здесь земля немецкая. Все же знают, что здесь жили славянские племена. Вы знаете, что тевтонские завоеватели поработили их, эти псы-рыцари не только здесь господствовали, они хотели покорить нас, если бы не Александр Невский, нам быть бы под их пятой, он истинный герой, а не ваш король Оттокар. У нас много других достойных образов и много пьес, например о Дзержинском, вы бы хотели сыграть Дзержинского? Аврутин пожал плечами. Вряд ли получится, сказал он, комплеция не та, да и цвет волос. Да, согласился Петр Прокофьевич, можно другую роль подобрать. Кстати, сейчас наш местный писатель передал нам свою пьесу о Калинине. Всесоюзный староста, из путиловских рабочих, народный заступник. Тоже образ достойный воплощения и близкий нам. Мы могли бы вас рекомендовать в группу местного театра.

Что-то об этом писателе рассказывал Григорий, вроде того, что он может писать быстрее, чем мы читаем, а за гонорар отца родного продаст. Как можно писать о Калинине, который расстрелы детей разрешил. Наверное, ему эту книгу хорошо оплатили. Странно, подумал Аврутин, писатель принес им свою пьесу, они, что все пьесы перед постановкой читают? Им что? Делать нечего? Видимо читают, понял Аврутин, когда Петр Прокофьевич продолжил: Нам надо не обличать прошлое, нам нужны герои для подражания, чтобы воспитывать патриотов. Я надеюсь на вас, знаю, вы простой рабочий, патриот своей родины, и я прошу совсем о небольшом одолжении, у вас наверняка есть текст пьесы, принесите мне, сделайте доброе дело. Аврутин недоуменно пожал плечами. Странно, что разве нет у них текста, разве не взяли при обыске у Мирского. У меня нет текста всей пьесы, только листки с моей ролью, сказал Аврутин. Петр Прокофьевич недовольно пожевал губами. Потом вдруг повысил голос и спросил резко: что вас связывает с инженером Григорием Новохатко. Аврутин впервые услышал фамилию инженера и не сразу сообразил о ком идет речь. Он давал вам читать запрещенные книги. Какие книги вы получали от докмейстера завода? Аврутин пригнул голову, словно ожидая внезапного удара. Разве Шекспир запрещен? – ответил после некоторого молчания Аврутин, я никаких запрещенных книг не видел у них. А Солженицын? – спросил Петр Прокофьевич. Солженицын, сообразил Аврутин, так это же напечатано у нас в журнале «Новый мир». Аврутин видел этот журнал у Григория Ефимовича, хотел попросить почитать, да так и не взял, не до чтения было. Текст своей роли учил. А то, что эта пьеса антисоветская даже никогда и подумать не мог. И разве немцы не жили здесь? Разве это выдумал Мирский? Аврутин читал о прошлом края, не только в пьесе это было. И разве тот не патриот, кто хочет рассказать об истории. Где найти истину? Все так хорошо складывалось. И вот теперь, вместо главной роли попал в эту комнату, которая несмотря на простую обстановку и отсутствие решеток на окнах и конечно же отсутствия каких-либо пыточных инструментов, все же была

преддверием ада. Здесь ведь человека хотели опустить, сделать своим служкой. Он это вдруг отчетливо понял, потому что после запугиваний, голос Петра Прокофьевича потеплел, и слова стали другими. Он сожалел, что такой молодой талантливый человек попал в сети антисоветчиков. Конечно же, он знал всё об Аврутине, знал о его учебе в Ленинграде, знал о том, что тот рассказывал о Товстоногове, конечно проверил. Потому что теперь говорил Аврутину, что он, Аврутин, человек с фантазиями, что любит все несколько преувеличивать, но что имеет свой взгляд и главное, хорошую память. Вы же сумели в короткий срок запомнить роль Оттокара, вы можете запомнить любой разговор, пересказать его мне. Аврутин уже раньше понял к чему всё клониться. Его хотели сделать сексотом. И если он согласится, то сразу станут правы все те в самодеятельном театре, кто думает, что именно он, Аврутин, донес на Мирского. Тогда от позора не отмоешься, тогда Эвелина окончательно разорвет с ним. Надо было как-то выкручиваться. Он стал говорить, что память не так уж хороша, что роль ему было трудно запомнить. Что теперь, когда Мирский покинет заводской театр, они уже не будут все собираться вместе. Петр Прокофьевич кивал, простукивал ребром ладони по столу, становился все более хмурым. Уже никакого сочувствия не осталось в выражении его лица. Он даже перешел к угрозам. Вы что, молодой человек, хотите очутиться в одной компании с Мирским и Новохатко, которых ждет справедливый суд. Аврутин покраснел, какой суд, что он выдумывает, за что их судить. Они антисоветчики, продолжал Петр Прокофьевич, они находятся на содержании западных спецслужб, Мирский уже много лет связан с сионистами, американские фонды постоянно его подкармливают, вам, наверное, тоже перепадало от этих подачек. Нет, нет, замотал головой Аврутин. Так почему же вы упрямитесь, почти выкрикнул Петр Прокофьевич, они жируют, за вашей спиной копят валюту, чтобы удрать из страны. Вы что не поняли еще? Эти наемники капитала вас просто используют! Нашли простого советского рабочего, узнали о его страстной любви к театру, задурили вам голову! Но это не освобождает от ответственности! Вы еще пожалеете о своем отказе, вы будете искать меня и просить о помощи, но не ждите ее, каждый должен отвечать за свои поступки...

На этом их разговор закончился, Аврутину пришлось ещё подписать бумажку, обязывающую его не разглашать суть состоявшейся профилактической беседы. Так и было написано на небольшом листке – профилактической.

Больше его не дергали и никуда не вызывали. Аврутин продолжал работать в техническом отделе, но с каждым днем его все плотнее сжимал круг молчания, какой-то незримый заговор был заключен против него, он постоянно ощущал враждебные взгляды, в столовой его не звали в занятую заранее очередь, никто не садился с ним рядом за стол. Начальница вообще не замечала его. Смотрела сквозь него, словно он был стеклянным. Прекратились репетиции, исчез Мирский, запропастился куда-то Григорий Ефимович. Не хотелось верить в то, что их забрали. У Аврутина начались сильные головные боли и он имел неосторожность пожаловаться на это начальнице отдела, та сочувственно похмыкала, покивала и отпустила на несколько дней с работы, Аврутин написал заявление об отпуске за свой счет и указал причину – головные боли.

В общежитии, когда все уходило на работу, Аврутин продолжал лежать на койке, закутавшись в колючее одеяло. Самые мрачные мысли приходили ему в голову. Но то, что его ожидало его, даже в мыслях ни разу не мелькнуло.

3

На четвертый день его отпуска днем в комнату без стука воровались люди в белых халатах, заломили ему руки за спину, и без всяких объяснений поволокли к выходу. Кричать было бесполезно, никого в общежитии не было. Даже вахтерша ушла со своего неизменного поста. Больше часа везли его в закрытом фургоне, ничего общего не имеющим с машиной скорой помощи, куда везут, почему он не мог даже предположить. Ясно было, что не в городскую больницу. Когда, наконец, машина остановилась и дверь открыли, в глаза ударил яркий свет солнца, вокруг было множество деревьев, узкие аллеи уводили в глубь парка. Краснокирпичное старое здание окружал высокий забор. Верх здания был словно сложен из кубиков и напоминал мавзолей. Широкая металлическая дверь, ведущая в здание, раздвинулась. Его опять стиснули с двух сторон санитары и по мрачному сырому коридору долго вели, продолжая сохранять молчание и не реагируя на его вопросы. Каменные стены коридора во многих местах облупились, повсеместно осыпалась штукатурка. В одном месте вода капала с потолка, и было подставлено ведро. Столь же мрачным было помещение, куда его ввели. За столом сидел врач или распорядитель – пожилой человек в белом халате, под халатом виднелся зеленый китель. Острые углы усов делали его похожим на кота. И заговорил он ласково, словно мурлыкал.

Итак-с, молодой человек, пожаловали к нам на лечение... Милости просим, милости просим...

Я не просился к вам, я абсолютно здоров, запротестовал Аврутин, ещё не осознав, что здесь его мнение ничего не значит.

Все так говорят, голубчик, все так утверждают. Но вот скажите, молодой человек, может ли наш простой советский труженик строить козни и противоречить всем и каждому...

Конечно, нет, пришлось согласиться Аврутину, не может, но я ведь никогда...

Вы что, надо мной смеетесь? – вдруг повысил голос хозяин помещения, – у вас вяло текущая шизофрения, это я вам сразу скажу, я тридцать лет здесь работаю, мне и анализов не надо, я всех насквозь вижу. Многие такой диагноз стараются получить, кто от тюрьмы бежит, кто от армии, а вам – я просто это дарю. Излечитесь, норов свой уймете, выйдете отсюда настоящим законопослушным советским человеком, меня ещё будете благодарить!

Только теперь Аврутин стал догадываться, куда он попал. Надо было срочно что-то предпринять. Я здесь не останусь, твердо заявил Аврутин, я не болен, можете запросить мое начальство...

Как же, как же, – усмехнулся врач, двумя пальцами поправляя торчащие усы, – уже запросили, давно запросили...

Что вы говорите, что вы смеетесь надо мной, вспыхнул Аврутин.

Ну вот, обрадовался врач, вы и подтверждаете своим поведением мой диагноз. Он нажал на кнопку, тотчас в комнату вошли те два санитаря, что привезли сюда. Сжали так, что сдавило дыхание, вытолкнули из комнаты, и пока вели в палату, два раза ударили ребром ладони по почкам. Не рыпайся, парень, сказал один из них. А другой добавил, шустряк попался, мать его...

В палате заставили снять пояс и вынуть шнурки из туфель. Бояться, чтобы не повесился, понял Аврутин, нет уж, этого удовольствия никому не доставлю. В палате стоял спертый воздух, небольшое окно с мутными стеклами было заграждено прутьями решетки. Санитары уходя, задвинули железную массивную дверь. Её скрип был прощальным ноющим звуком, отделявшим от остального мира.

В палате было шесть коек с панцирными сетками, все они были пусты, кроме одной, стоящей в дальнем углу. На ней сидел жилистый человек в синей пижаме и внимательно рассматривал новичка. Никакого даже намека на безумия в его взгляде не было. Хотя видно было, что он сейчас в мыслях далеко отсюда. Хотелось пить, и была нужда выйти в туалет. Напрасно

Аврутин тарабанил в дверь, пока его не оттащил от неё его товарищ по несчастью и показал на парашу, стоящую в углу. Теперь, когда он встал, можно было сразу угадать в нем спортсмена, хотя был он и пожилой, но, видимо в молодости отдал дань спорту, а потому и сейчас – подтянутый, мускулистый.

Коли судьба свела нас вместе в это заведение, давай знакомиться, предложил он. Звали его Иван Анисимович, в прошлом он был кандидат наук, а сюда, по его словам, попал за дело, сам во всем виноват, но в чем была его вина, он открываться не стал. Я в этой палате временно, объяснил он, это проверочная палата. Я такую палату шесть лет назад прошел, отсюда потом распределяют кого куда, буйного к буйным, политических к уголовникам, тихих на первый этаж – там полегче. А я узнал, что пустует эта палата, вот пристроился, хочу от всех отдохнуть. Надоело мне с Наполеоном ругаться. Этот настоящий сумасшедший, постоянно меня приговаривает к расстрелу.

Было что-то располагающее в соседи по палате. Аврутину нужно было исповедоваться перед кем-нибудь, поделиться своей бедой. Он без утайки рассказал о самодеятельном театре, о том, как запретили пьесу о тевтонских рыцарях, о своих сомнениях. Хотел он, чтобы бывалый пациент больницы посоветовал как быть, как выбраться отсюда.

Они проговорили всю ночь. Иван Анисимович давал разумные советы. Уговаривал Аврутина не бунтовать, смириться, все время говорить, что к политическим не имеет никакого отношения. Лучше даже при ваших актерских способностях изобразить какую-нибудь личность, это снимет все подозрения и вас спасет, здесь любят посмеяться над всяческими неронами и наполеонами. А будете настаивать на том, что здоровы, залечат, сделают больным, это ведь не простая больница, это больница милицейская, заметили у врачей и у некоторых санитаров под халатами милицейские мундиры. И большинство санитаров мужчины, называют себя мед-братьями, вроде твоих тевтонских рыцарей, те ведь тоже друг друга братьями называли, для себя может быть и братья, а для нас палачи.

Аврутин слушал внимательно, но верить во все сказанное не хотелось, ведь не исключено, что Иван Анисимович просто страдает манией преследования, и его здесь лечат, а ему кажется, что хотят сжить со света. И бороду свою сбрей, посоветовал Иван Анисимович, потаскают за нее каты в свое удовольствие. С бородой Аврутин расставаться не хотел, хотя она приносила много неудобств, намокала при умывании, требовала ухода, да и прилипла кличка намертво – рыжий. На заводе – рыжий, и здесь рыжий. Не поймут, что герой его король Оттокар, как все, относящиеся к роду Барабароссов, славен своей бородой, да и знают ли здесь об Оттокаре, лишнее подтверждение сумасшествия – возомнил себя королем. Разве настоящие короли попадают в спецбольницы, И если подумать о судьбе Оттокара, то тоже, избеви судьба от таких перипетий. Он, конечно, не был брошен в психушку. Но королевская жизнь в те давние времена мало отличалась от сумасшедшего дома. Вечные интриги, постоянная борьба за власть, за расширение своих владений, неистребимое желание стать императором всей Римской империи. На пути стояли Габсбурги, требовали присяги, объявили даже изменником, битва за битвой, и роковая у Сухих Крут, и гибель в этой битве. Эвелина, изображавшая в театре Мирского жрицу, предсказывала эту смерть. И все же то была славная смерть в бою. А жизнь его, Аврутина, неужели закончится здесь, в этих каменных стенах, среди людей в форме, облаченных в белые халаты, не знающих милосердия. Тевтонские завоеватели. Святая инквизиция. Не хватает только крестов на этих халатах.

Утром, когда в коридорах послышались шаги, Аврутин не выдержал и стал стучать в дверь. Иван Анисимович не успел его оттащить от двери, когда та растворилась, и новый санитар, заступивший на смену, закричал: Ну что вам надо психи, ядрена корень! – Позовите главного! – крикнул Аврутин. – Я здесь главный, рыжий придурок, – ответил санитар. Он был много выше ростом и мускулистее. И когда он схватил Аврутина за руку и поволок по коридору, то вырваться было невозможно. В процедурной, куда его втащили, Аврутин увидел муже-

подобную медсестру, запомнились усики на ее губе. Шприц был уже приготовлен. Санитар сдернул с Аврутина штаны. Медсестра сделала два укола, и Аврутин почувствовал, что теряет сознание.

Очнулся он в палате, привязанный к койке, по палате бродили люди с землистыми лицами, что-то бормотали, будто неслышно произносили молитвы. Аврутин попробовал пошевелить ногами, они его не слушались, онемели, а растереть их он не мог, руки были связаны. В середине дня появился врач, который в первый день принимал Аврутина. Говорил он все также вкрадчиво, с видимым сочувствием. Сказал сопровождавшей его сестре, что если два куба аминазина не помогут, то придется делать инсулиновую блокаду и милостиво разрешил развязать руки. Но с условием, молодой человек, с условием, – повторил – никаких сопротивлений лечению. Мы и не таких буйных успокаивали. Какой же я буйный, – хотел выкрикнуть Аврутин, но получился не крик, а жалкий шепот. Язык во рту шевелился с трудом.

К вечеру стали отходить ноги, Аврутин смог встать и пойти в туалет. Более грязного места трудно было придумать, никаких закрытых кабинок не было. Его вырвало, и долго текла густая клейкая слюна с кровью.

На следующий день в общей палате появился Иван Анисимович. Аврутин обрадовался ему, словно родному брату. Я же предупреждал, сказал он, не надо шуметь, надо быть тише воды, ниже травы. Аврутин стал выспрашивать о том, как можно выбраться из этой больницы. Если бы я знал, вздохнул Иван Анисимович, давно бы сам был на свободе. Хотя, мне и свобода заказана. Я теперь там лишний. Сдался я легко. Думал все просто, больница все же. А эта психушка хуже тюрьмы. В тюрьме ты знаешь свой срок, можешь апелляцию подать, можешь просить досрочного освобождения, здесь никаких законов не писано. А будешь требовать, бунтовать, быстро превратят в овощ, ничего тебе уже не будет нужно, все свои роли забудешь, и кто ты есть, тоже забудешь. Вон, посмотри, как тот парень, Иван Анисимович показал на сутулого человека с обритой головой, который обнимал свернутое одеяло и плакал. Видишь, он уверен, что одеяло его мамаша, жалуется ей целыми днями. А там дальше койка, на ней бывший профессор истории, на вид тихий, но считается очень опасным, у него особая страсть к огню, может поджечь койку в любую минуту. Ни в коем случае не давай ему спичек. Не курю я, откуда спичкам взяться, ответил Аврутин.

Их разговор прервал крепыш с короткой стрижкой, он подошел к кровати, сверля узкими глазами Ивана Анисимовича, одна рука крепыша была на груди, пальцы засунуты за воображаемую жилетку, другая рука с вытянутым указательным пальцем тянулась к лицу Ивана Анисимовича. Опять ты здесь, закричал крепыш, вот из-за таких трусливых маршалов я проиграл Ватерлоо, почему была отведена на фланг моя гвардия, где была артиллерия. Я приговариваю тебя к расстрелу!

Успокойтесь, сир, – сказал Иван Анисимович, – вы же помиловали меня. Да, да, – согласился крепыш, – мне нужны воины, я не могу разбрасываться верными солдатами из старой гвардии. И мне надо отдохнуть перед решительным сражением. Он вздохнул, скрестил руки на груди, как-то обмяк и сел на пол, голова его склонилась на грудь, глаза закрылись.

Не удивляйся, здесь ты встретишь настоящих актеров и героев всей человеческой истории, сказал Иван Анисимович, есть здесь даже один генерал, но это настоящий генерал, изумительный человек, главному пахану даже умел правду говорить, а паханы не любят правды... Кто же этот главный пахан? – спросил Аврутин. Не здесь он, не здесь, ответил Иван Анисимович и посмотрел на потолок.

Еще одним пациентом в палате был художник, он подошел, держа в руках картонку, подобие мольберта, кисть была настоящая, он держал ее на вытянутой руке, как бы измеряя Аврутина в пространстве. Извольте, сказал он, я готов писать ваш портрет. Немного позже, дай человеку освоиться, остановил его Иван Анисимович. Этот помешан на своей гениальности, сказал о художнике Иван Анисимович, сорвался с колес, когда запретили его выставку, ходил по всем

инстанциям, пока всем не надоел. Упрятали сюда, а здесь за год сделали психом, а потом... Что было потом Иван Анисимович не досказал.

Прозвенел долгий и громкий звонок. Сзывали на обед. Аврутину выдали ложку, ни ножа, ни вилки, естественно, не полагалось. Да и нечего было делать здесь этими столовым приборам. В похлебке плавали редкие крупинки. Каша была недоваренной полужидкой. Аврутин ел механически, все в нем протестовало, он понимал, что надо сдерживать себя и в то же время понимал, что если покориться судьбе, станет действительно тихим умалишенным или превратится в ходячий лишенный разума овощ, так здесь называют тех, кого лишают возможности мыслить.

После обеда все должны были лежать на своих койках, санитары и медсестры разносили лекарства и следили за тем, чтобы в их присутствии эти лекарства проглатывали. Наученный Иваном Анисимовичем, Аврутин зажал таблетки между щекой и языком и сделал глотательное движение. Ему удалось провести медсестру и это была его первая победа в странном больничном доме, где людей превращали в тупых рабов. Возможно, на воле это были не совсем нормальные люди, но они никому не мешали, работали, имели свои семьи, никого не опасались. Здесь же судьбой многих стала мания преследования. Рядом с Аврутиным была койка молодого парня Николая, он обычно перевязывал лоб бинтом и по ночам прятался под кроватью. Аврутин пытался узнать у него, чего он так боится, даже пообещал защищать его. По большому секрету скажу, ответил Николай, все думают, что я Щорс, и я их не разuverяю. Голова обвязана, кровь на рукаве, след кровавый стелется по сырой траве, пропел Николай песню про красного партизана Щорса. Потом после некоторого молчания, приблизился вплотную к Аврутину и сказал: клянись, друг, что не выдашь. Аврутин поклялся. Так вот, признался Николай, я вовсе не Щорс. Еще один симулянт, подумал Аврутин. Я вовсе не Щорс, продолжал Николай, я на самом деле Петлюра, но если большевики узнают, мне конец, поставят к стенке. Здесь их генерал есть, доложит Ленину – и мне конец. Николай задрожал, плотнее закутался в одеяло и полез под кровать. Аврутину стало как-то не по себе. Что же это за дом, как здесь отличить сумасшедшего от нормального, больного от симулянта, политического от бандита...

Было тяжело в первые недели от того, что невозможно было нигде уединиться. Всё на виду и туалет, и умывальники, и при этом ощущение постоянной слезки, санитары, внезапно возникающие за спиной, и невозможность защитить себя. Были среди санитаров и настоящие садисты, им доставляли удовольствие мучения пациентов, в любом удобном случае пускались в ход кулаки, и упаси господь, сопротивляться и давать сдачу – запрут в подвале без еды и питья, свяжут мокрыми простынями, вставят в рот кляп. Жаловаться некому. Да и кто воспримет серьезно жалобы психа, мало ли что может выдумать человек, лишенный ума, мало ли какие галлюцинации привидятся ему. Но ведь если разобраться, были здесь и очень умные начитанные люди, вспышки безумия у них были редки, и в общении можно ли было пожелать на воле лучших собеседников. Так, профессор-поджигатель, по фамилии Шмидт, знал все и обо всем, был он из профессорского рода, и дед, и отец – профессора, но вот эти его знатные родители потеряли сына, когда эвакуировались из Керчи. Он малолеткой был спасен партизанами, а потом в партизанской деревне со всеми жителями пойман, всех загнали в деревянный сарай, облили снаружи бензином и подожгли. Ему чудом удалось спастись, в узкую амбразуру окошка высунули его, по всем, кто пытался выбраться, стреляли, а тут видят мальчонка голый, раздела его тетя Клава, это он точно помнит, потому что гореть в одежде боль нестерпимая, еще помнит, что волосы трещали на голове от огня. Решили каратели не тратить на него пуль, и теперь иногда ему кажется, что вокруг фашисты, что он должен отомстить, и он долго и тщательно готовит эту месть, прячет спички, бумагу, а потом среди ночи устраивает пожар. Обо все этом узнал Аврутин из рассказов Ивана Анисимовича, но поверить в это было трудно, потому что никакой тяги к огню у профессора Аврутин не замечал, а рассказы его по истории любил слушать. Он в свою очередь рассказал профессору о пьесе Мирского,

о короле Оттокаре, о тевтонских рыцарях. И здесь профессор знал много больше, чем Аврутин, и даже больше чем Мирский или Григорий Ефимович. Рыцарей профессор не жаловал, считал их предтечами фашистов, очень сожалел, что пруссы стали их жертвой. Утверждал, что если бы выстояли пруссы, не было бы и Первой мировой и Второй, не было бы почвы у фашизма. Пруссы ведь это очень близкий к славянам народ. И с гордостью объяснял, что многие наши предки ведут свое происхождение от пруссов. Иван Грозный был в этом уверен, Ломоносов это утверждал, Пушкин предком своим считал прусса Ивана Кобылу. В том научно-исследовательском институте, где профессор одно время даже кафедрой заведовал, пока не поджег свой кабинет, это все изучали, когда война кончилась и Пруссию разделили между Союзом и Польшей, это все поощрялось. Я уверяю вас, говорил профессор, я убежден, что крестоносцы погубили самобытный народ, народ более высокой нравственности, чем они. У пруссов была своя письменность, которая, увы, не дожила до наших дней. Они были более свободны, чем соседние народы. Их короли, которых называли по-прусски кунигсами, не были воинственными и не стремились обратить другие народы в свою веру. Пруссы охраняли свои священные рощи. Вели торговлю со Швецией, с Данией и с нашим Новгородом. Солнечный камень янтарь они открыли миру. Да, у них было многобожие, были не всегда разумные жрецы. Да, они убивали христианских миссионеров-проповедников, когда те покушались на их священные рощи и их богов. Но ведь они не звали этих радетелей к себе. Аврутин пытался защитить рыцарей, говорил об их благородстве, но профессор тотчас опровергал рыцарское благородство историческими фактами, которых он знал множество. Иван Анисимович не раз участвовавший в их разговорах, говорил Аврутину, что человек не может беспристрастно изучать историю. Тем более профессор Шмидт, которого пытались сжечь фашисты. Вспомни, как твой король Оттокар расправлялся с пруссами...

Иван Анисимович и зародил в Аврутине мысль о создании здесь, в каменном доме отверженных, своего театра. Один из его родственников, двоюродный брат, был режиссером в столице, так что все о театре Иван Анисимович знал почти досконально. Было бы здорово, говорил он, занять людей репетициями, приобщить их к лицедейству, ведь мы все здесь, считай актеры, в каждом свой талант заложен. Присмотрись к людям. Ответа сразу Аврутин не дал, хотя мысль о том, что здесь на сцене он снова может стать королем Оттокаром была заманчивой, а идея создания театра стала неотступной. Правда, профессор посмеялся над этими планами, сказал: разве психушка место для театральных представлений? Здесь и без того каждый день свой особый театр... Театр одного актера...

Но с каждым днем Аврутин все больше убеждался, что здесь обитают не только психи, что есть много вполне нормальных людей, многие разбираются и в искусстве, и театр им не чужд. Иван Анисимович даже высказал мысль о том, что только здесь можно и поставить настоящую пьесу без цензурных выкидышей. Что взять с психов, пусть дурачатся. Наверняка, у многих откроются таланты, продолжал убеждать Иван Анисимович. Они теперь часто беседовали, прогуливаясь по коридору, шагали неспешно, можно было издалека глядя на них подумать, что это врачи, вот идут, обсуждают, как вылечить несчастных больных. А они вели самые вольные разговоры, за которые вне психушки не поздоровилось бы. Иван Анисимович был убежден, что и за каменным забором немало психических больных, и не таких, какие сюда посажены, а похлеще. Во-первых, утверждал он, больны все правители, желающие подчинить как можно больше людей и захватить как можно больше территории. Разве можно назвать нормальными тех, кто уничтожает миллионы. Это даже страшно подумать, в Китае культурные революции и голод, организованные великим Мао, пожрали больше семидесяти миллионов, а у нас похлеще – сталинские сатрапы расправлялись с народом с маниакальной жестокостью, почти столько же, сколько Мао угрохал, мы потеряли. Уж и не говорю о Гитлере, этом убийце-психопате! И вот на нашем веку красные кхмеры Пол Пота забивали людей, словно скот. Разве это нормальные люди. Или возьми нашего Калинина – детей по его указу стали расстреливать.

Вот таких надо сажать в психушки, таким надо делать лоботомию. Иван Анисимович горячился, говорил слишком громко, словно ему возражал Аврутин. А тот слушал молча, о многом он сам раньше передумал, о судьбе отца догадывался и очень жалел, что не упросил мать открыть всю правду. Но как это страшно – миллионы жертв, неужели это возможно? Конечно, таких подробностей, какие были известны Ивану Анисимовичу, он не знал. Неужели палачей на земле осталось больше чем уцелевших жертв. Не укладывалось в голове, как может продолжаться жить человек, у которого руки в крови. Вот, пилот, сбросивший атомную бомбу на Хиросиму, сошел с ума. Но разве был он нормальным человеком, когда согласился уничтожить столько людей? Иван Анисимович тоже много рассуждал о тех, кто сознательно шел на преступления. Аврутин спрашивал: Может ли нормальный человек убить себе подобного. Иван Анисимович замыкался, подолгу молчал, не хотел он говорить об этом.

Здесь тоже сидели убийцы, но совершенно было ими убийство в момент припадка, в момент, когда сознание затуманивалось, и ничто их не сдерживало. Они расплачивались за этот момент. А вождям, умертвлявшим свой народ, ставили памятники. Профессор, не раз включавшийся в их беседы, тоже на многое раскрыл Аврутину глаза. Аврутин впитывал в себя те знания, которые не смог бы получить ни в одном советском вузе. От профессора Аврутин узнал, что Иван Анисимович заключен сюда за убийство жены. Верить в это не хотелось, возможно, просто наговаривает на Ивана Анисимовича, хочет, чтобы Аврутин слушал только его, профессора. Каждый ученый хочет воспитать ученика. Но в знаниях, пожалуй, Иван Анисимович не уступал профессору. Было очень интересно слушать их вечерние беседы, когда выключали свет, и в полумраке голоса звучали таинственно. Да разве можно было причислить их к сумасшедшим? Между тем, профессор утверждал, что они самые настоящие сумасшедшие, что надо в большевистской стране гордиться тем, что тебя причислили к разряду умалишенных. Это ведь давняя традиция, говорил профессор, началось еще с Чаадаева, вы читали его философские тетради? Пришлось признаться, что слышит об этом впервые. Вот говорят про нас, что у нас мания, мания у меня – к огню, говорят, но понимают ли, что на греческом это слово означало вдохновение и пророческий дар. Не смешите, прерывал Иван Анисимович, вы и пророческий дар, не очень вяжется. В чем они сходились без возражений, это в том, что все гении – сумасшедшие, только незаторможенный мозг может родить гениальные идеи. Может быть, они и были правы, но Аврутин не замечал среди товарищей по несчастью гениев. Говорили, правда, что художник был раньше очень знаменит, но рисовал картины совсем непонятные, заумные...

Постепенно Аврутин узнал о судьбах большинства пациентов, за исключением тех, кто обитал в палате для буйных, отгороженной от общего отделения массивной железной дверью. За этой дверью иногда по ночам раздавался такой страшный и дикий вой, что все просыпались, начинали нервно вздрагивать, ходили по палате и некоторые старались спрятаться в углу, закрывшись одеялами. Вой этот был похож на волчий. И обрывался также резко, как и начинался.

В палате, где лежал Аврутин, были, в принципе, обычные люди. С ними можно было говорить и рассуждать на любые темы. И даже Наполеон не всегда чувствовал себя Наполеоном, и в часы просветления мог очень интересно рассказывать забавные истории. А художник, оставив в покое мольберт, обычно тихо пел, и голос у него был приятный. Оказывается, он был солистом в столичном ансамбле, и даже довольно-таки известным. Его часто посещали родственники и, благодаря ему, Аврутин имел возможность вечером после того, когда больница утихает и все засыпают, пить настоящий душистый чай и даже вкушать бутерброд с сыром. За это удовольствие он помогал «художнику» прятать кипятильник и краски, которые приносили его друзья. Это было трудно сделать. Ни у кого не было своей тумбочки, и все свое личное приходилось прятать под матрас. Но и там нельзя было ничего утаить, потому что периодически санитары проводили шмон, выстраивали всех у стены и потрошили матрасы, сбрасывали

на пол все, что под ними лежит: книги, сигареты, хлеб, зубную пасту, дорогие для бедолаги семейные фотографии. Все, что глянулось «шмонарю» санитару забиралось. Страшно обидно было терять то, что принадлежало исключительно тебе. Но ничего ты был не волен сделать. Попробуй протестовать или отнимать, нарвешься на инсулин в лучшем случае. Краски художник тратил быстро, рисовал густыми мазками, получались кровавые пятна на фоне голубых облаков, казалось, вот просто мазня, но ведь были и знаменитые художники, что такие же кляксы за картины выдавали, а этот был, вероятно, настоящий художник, потому что мог мгновенно портрет твой изобразить, и так похоже, что не придерешься. С кипятильником Аврутин и художник придумали такой вариант хранения, что ни при каком, даже самом тщательном шмоне, его не обнаружили, потому что привязывали они его к единственной лампочке, закрепленной у самого потолка. Иван Анисимович похвалил их за изобретательность и сам последовал их примеру. К нему раз в месяц приезжал сын, на свидание с ним Иван Анисимович не выходил, тот оставлял передачи, да такие, что сразу было видно, что живет он не как все советские люди, а вроде какого-нибудь обкомовского деятеля, который получает в особом магазине спецпайки, в передачах попадалась даже красная икра и семга. Но на все вопросы о сыне Иван Анисимович не отвечал, упорно молчал. А потом и прямо сказал: не лезьте мне в душу, итак тошно. Здесь никто и не лез с ненужными расспросами, сами обитатели дома готовы были раскрыться и поведать о своем горе. Общие чаепития сближали. И Аврутину, который ничего с воли не получал, было лестно, что его принимают в такую компанию.

И когда по вечерам, освобожденные от постоянной опеки санитаров и угроз губительных процедур, они распивали чай с лимоном, то мир не казался уж таким страшным. Можно было представить, что это обычное общежитие, ведь и в том заводском общежитии, где обитал Аврутин, тоже случались вспышки почти что безумия, нередко кто-нибудь так напивался, что терял всякий контроль над собой, часто возникали и потасовки и разнимать дерущихся приходилось самим, не было там смотрящих за порядком санитаров. Так что общежитие везде есть общежитие, общее житье людей, которые не очень то хотят быть вместе друг с другом. Но куда денешься от судьбы. Несколько раз чайные вечеринки, так называл встречи Иван Анисимович, разделял с ними Петр Иванович, прозванный архитектором. Лысоватый крепыш, всем и всеми недовольный. Он, действительно, на воле был строителем, мог часами рассказывать о различных стилях в архитектуре, признать в нем сумасшедшего было весьма трудно. Однако, он был действительно болен. Иногда без всякого основания всплыв, начинал обвинять художника и Аврутина в разрушение города. Переход его от спокойного нормального состояния к психическому взрыву было трудно угадать. Ведь поначалу говорил, действительно, о состоянии городов в этом крае, о том, как разбираются на кирпичи старинные замки и кирпичи, как строятся в областном центре безликие коробки, как повсюду уничтожается готика. Рассказывал, как в Варшаве, когда разбирали руины, нумеровали каждый кирпич, чтобы потом при восстановлении здания поставить его на свое место, а у нас кирпичи превращали в щебень. Слушали его с сочувствием, кивали, а он, вдруг переходил на крик: Варвары, вот такие как вы, дикие варвары, большевики, вы хотите все разрушить до основания, вы ответите за все, и за взрыв замка, и за снос памятников. При чем здесь мы, оправдывался художник, еще не понимая, что архитектор никого не слышит и не видит, вернее, у него галлюцинации, и видит он тех, кто довел его до такого состояния. Он ведь был уволен за то, что протестовал против сноса здания старинной аптеки. Берегитесь, продолжал кричать архитектор, ваше время кончается, я приду и со всеми разберусь, меня выписывают и дают мне особые полномочия... Со мной будут ходить по городу чекисты, будем вершить высший суд...

Архитектора легко можно было успокоить, поглаживая его лысину и уши. Он быстро приходил в чувство, извинялся, объяснял, что не помнит, что наговорил, просил простить его. И через полчаса, уже окончательно придя в себя, вел вполне разумные речи. Аврутин слушал внимательно, все впитывал в себя. Петр Иванович рассказывал о том, как выглядел Кёнигсберг

до войны, говорил, что это был один из красивейших городов Европы. Тут с ним не соглашались. Даже Аврутин возражал: неужели, красивее Ленинграда, быть такого не может. Да, юноша, отвечал архитектор, Ленинград вне конкуренции, его мой царственный тезка выстроил строго по плану, но хочу заметить, что многое заимствовал в Кёнигсберге, когда был здесь в составе Великого посольства, к примеру, Петропавловскую крепость выстроили такой, какая здесь была... Жаль, что за одну ночь английские летчики весь центр размолотили... Но еще не все потеряно, остались казематы, форты, крепостные ворота, придет время и там будут музеи, архитектура немой каменный свидетель – она сберегает время, останавливает его...

Раньше Аврутин никогда не задумывался о судьбе города, в который был направлен, считал себя временным его жильцом. Да и стоило ли оплакивать старый немецкий город, которого не видел, о котором знаешь из рассказов. Сколько родных сел и городов уничтожено Ленинград ведь тоже хотели стереть с лица земли, а сколько там жителей погибло, не меньше миллиона. И теперь, когда заключен в психушку и, может быть, совсем больше этого города не увидишь, ни его, ни Ленинграда, какое это все имеет значение. Здесь, за каменными стенами, внешний мир оставался только в воспоминаниях.

Были здесь, в психушке, и такие пациенты, что не желали выписываться или выйдя на волю, тотчас попадали сюда обратно. Были и временные обитатели, в основном молодые парни, косящие от армии, получив заключение врача о шизофрении, они обычно радовались, это освобождало их от призыва, правда, радость их была порой преждевременной, поступить сюда было легко, а выйти весьма затруднительно. И после инсулиновой блокады они понимали, что армия с её так пугающей их дедовщиной была бы желанной, почти раем, куда сами они себе доступ закрыли.

Еще говорил Иван Анисимович о политических, но никого из политических Аврутин не встретил, а с генералом, сидящем в отдельной палате, так и не познакомился. Рассказывал Иван Анисимович, что этот генерал, когда доставили его сюда, был уверенным в себе крепышом, военная косточка, мускулы – не проткнешь, но так его залечили, что стал он похож на узника концлагеря. А почему упрятали сюда генерала? – спросил Аврутин. Иван Анисимович помолчал, вздохнул и сказал, что был этот генерал всем правителям кость в горле. Почему? – спросил Аврутин. Долго объяснять, ответил Иван Анисимович и сказал: судить открыто его испугались, вот и признали психом. А какой он псих, умнее не встречал человека. Он ведь как раскусил сразу тупость Сталина в военных делах. Еще в сорок первом не испугался – критиковал вождя народов. Ну и взяли этого непокорного генерала в оборот, во время войны пасли смершевцы, комитетчики развернуться не давали, а он был полководцем от Бога, такие люди сражения выигрывали, а о своей безопасности не заботились. Мало того, что он был два раза ранен, так его и со званием притирали, генералом он стал только после войны. Вот кто был коммунистом убежденным так это он, требовал, чтобы уравнили правящим бонзам и рабочим зарплату, создал свой «Союз за возрождение ленинизма». Вздумал бороться за возрождение ленинских норм, вот и признали сумасшедшим. А может быть, и действительно, сумасшедший, какие такие ленинские нормы обнаружил, у этих большевистских паханов одна была норма – в расход недобитых генералов пускали с превеликим удовольствием. Иван Анисимович замолчал, внимательно оглядел Аврутина и вдруг, ударив себя по лбу, воскликнул, да ведь тебе под Ленина надо закосить, ну вылитый Ленин, рыжий и роста небольшого, и картавишь, и лысинка вот наметилась. Бороду надо только подкоротить. И имя обязывает – Вилор. Аврутин, чтобы подыграть Ивану Анисимовичу, принял типичную ленинскую позу – одна рука за отворот халата, за неимением жилетки, другая вскинута вперед. Выкрикнул: Товарищи психи, долой Учредительное собрание! Иван Анисимович заплодировал. Но превращаться в Ленина Аврутин отказался. Будь что будет, но только не это. Стать Лениным, значило самому признать себя сумасшедшим. Все же сохранялась в душе надежда, что сюда его взяли на лечение, а не потому, что он напросился в театре на роль короля Оттакара, и не потому, что отка-

зался сотрудничать с гэбешниками. Да и Иван Анисимович не очень настаивал на таком перевоплощении, ну и художник вспомнил, что один Ленин здесь уже лежал, так его санитары чаще других били, да и генерал, если встречал, весь из себя выходил, кричал – не смей позорить вождя, жалобы писал, чтобы этого психа убрали отсюда.

Несмотря на то, что обрел здесь Аврутин друзей, время от времени он впадал в депрессию, казалось, что вытерпеть все обрушившееся на него не было сил. Он кидался на койку, отворачивался к стене, зажимал уши подушкой, чтобы не слышать и не видеть происходившее вокруг. Сам себе он казался несчастным и покинутым, и уже ничто не связывало его с миром, существующим вне этих каменных стен. У многих сотоварищей по несчастью были родные, ждущие их люди. У Аврутина – никого. Все, даже «Наполеон», рассматривали фотографии своих детей, жен, показывали друг другу. У Ивана Анисимовича была фотография симпатичного ухоженного мальчика, в матроске, такая же матроска была у Аврутина в детстве. Это внук, пояснял Иван Анисимович, учиться в столице, в престижной школе, ради него и живу. У Аврутина не было даже фотографии матери, со временем он перестал представлять ее лицо в целом, но ясно выделялись вдумчивые печальные глаза, ухоженные волосы, мягкие ласковые руки. Слышался отчетливо ее голос, иногда она являлась во сне и упрекала его, а он все время пытался оправдаться, говорил, чтобы она не волновалась, и он давно уже занят на главных ролях в театре. После таких снов ему становилось еще невыносимей, он понимал, что ему уже не дано придти на могилу матери, что вряд ли ему удастся вырваться отсюда. По ночам он подолгу не спал. Мучили мысли об Эвелине, о том, что случилось с Мирским, почему никто даже не пытается передать весточку, никто – даже Григорий Ефимович, значит он, Аврутин, никому не нужен, нормальный мир вполне может существовать без него...

Единственной отрадой для Аврутина были дни, когда ему разрешали прогулки в парке, прилегающем к больнице. Этот парк был отделен от города высокой каменной оградой с колючей проволокой пущенной поверху, но были там места, откуда не было видно ограды, и можно было представить, что ты на воле, а главное побыть в одиночестве, надышаться свежим воздухом и почувствовать всю прелесть окружающей природы. Стоял сентябрь, как всегда теплый и солнечный в этих краях. Деревья ещё только начали желтеть и не спешили расстаться со своим нарядом. Но дорожки уже покрылись спадающими листьями, и было приятно ходить по ним, как по мягкому ковру. Аврутин даже снимал тапочки, чтобы почувствовать ногами эти листья. Были в парке и яблони, в эту осень был особый урожай. Ветви сгибались под тяжестью плодов, и часто в тишине слышались шлепки, это падали созревшие яблоки. Аврутин хрустел яблоками и в такие дни почти не ел надоевшую кашу и кислые щи, обычное больничное меню могло любого отратить от пищи, а яблоки были просто прелесть, в них таились нежные ароматы и они никогда не могли наскучить. Выпускали гулять немногих, тех, кого не считали буйными. Иногда удавалось совместить свою прогулку с прогулкой Ивана Анисимовича и поговорить обо всем или помолчать вдвоём. Часто вспоминали Ленинград, Иван Анисимович хорошо знал северную столицу. Все бы отдал. Чтобы хотя бы на день вырваться туда, пойти в театр, побыть на свободе, говорил Аврутин. Иван Анисимович считал, что человека губит несбыточность мечтаний. Мир за воротами не приносит человеку освобождения, если душа не спокойна, она и там не найдет покоя. Артур Шопенгауэр утверждал, что весь мир это госпиталь для неизличимых. Имя этого философа Аврутин слышал впервые. Иван Анисимович сказал, что его не издают в нашей стране. Аврутин все больше убеждался в том, что Иван Анисимович может заменить чтение любой запретной книги, память у него была такой, что любой артист позавидовал бы...

Вскоре Аврутин обрел еще одного товарища. В соседнюю палату ночью положили нового больного. Аврутин проснулся от шума и возни, слышались выкрики. Утром он увидел новичка, высокого роста с высоким лбом и с русыми волосами, он был похож на былинного богатыря, только состарившегося. Все лицо было изборождено морщинами. Новичок улыбнулся, когда

Аврутин подвинулся и предложил ему место за столом. Они познакомились. Валентин – так его звали. А кличка была Валя Зэка, потому что почти всю свою жизнь провел в тюрьмах. Потом несколько дней они не виделись. Валентина накачивали психотропными уколами, да так усердно, что когда они снова увиделись, Аврутин не узнал его. Руки у Валентина дрожали, и ходил он с трудом. Но примерно через месяц от него отвязались, и он постепенно стал приходить в норму. Его даже стали выпускать на прогулки. Они встретились в парке, где Валентин кормил голубей. От скудной своей пайки хлеба приберегал кусочек, птицы, завидев его, слетались к нему, один осмелевший голубь даже садился на плечо.

Они разговорились. Валентин оказался поэтом и почти час беспрерывно читал свои стихи. Видимо понял, что Аврутину близка поэзия. Ведь Аврутин знал многие монологи из пьес наизусть. Это удивило Валентина, и он позже постоянно просил почитать, особенно Шекспира, и прочесть не только один раз, а повторить еще и ещё.

Вот уж это был настоящий политический. Три десятка лет в тюрьмах. Утверждал, что ни один поэт в мире столько не сидел – и вот в завершение эта психушка. Попал сюда после ростовской тюрьмы, там уже отбыл срок, но когда освобождали, отказался получать советский паспорт, требовал выезда за рубеж. Конечно, узнав это обстоятельство, думал Аврутин, любому это покажется сумасшествием. Нужна ли и самому Валентину такая бравада? Возможно, он все выдумывает, всё таки поэт. Валентин, видя, что Аврутин усомнился в его рассказе, пояснил, что многие русские поэты сумели вырваться из страны и что свободное творчество возможно только в свободной стране. И такие гении, как Бунин и Набоков не смогли бы здесь жить. Ни того, ни другого Аврутин не читал. Знал других, которые живут и пишут здесь. Ведь и Валентин пишет. Продолжал сочинять стихи даже здесь, в психушке. Карандаш и бумагу у него никто не забирал. И стихи были сильные и сразу запоминались. Аврутину даже представлялось, что когда-нибудь он выйдет на сцену и прочтет этот стих, сочиненный Валентином, очевидно ночью в саду:

*Золотая лампада луны Золотой ободок тишины
И тяжелыми ветками сжат В одно
целое грезит мой сад На зелёной ладони листа
Неподвижно стоит высота...*

Было много стихов о тюрьмах, но еще больше стихов романтических, и было странно, что поэт этот, не видевший ничего светлого в жизни, а мыкавший годы по тюрьмам и лагерям мог сочинить подобное. Сочинял Валентин легко, буквально экспромтом выдал про сумасшедший дом: от здешнего лечения сердце стынет льдом, хуже заточения сумасшедший дом...

Действительно, хуже тюрьмы, там томятся от заключения, но никто не посягает на твою жизнь. Здесь же из тебя могут выдавить все человеческое, будешь просто овощем... А от действительных болезней здесь не лечат. Художник так и не добился того, чтобы его свезли в городскую поликлинику к специалисту эндокринологу. Последнее время он на глазах таял, что-то не ладилось у него с желудком. Несмотря на множество врачей и медсестер не было здесь специалистов по различным болезням. Лечили или залечивали тех, кто считался сумасшедшими. Да и нормальные люди быстро падали духом и впадали в умственное расстройство.

Постановка пьесы могла бы многим вернуть чувство жизни, считал Иван Анисимович, он настоял на том, чтобы Аврутин вспомнил всю пьесу и записал ее. Для этого он даже не пожалел своей толстой тетради, в которую записывал все события. Он вырвал оттуда больше десятка листов и посоветовал писать мелким почерком, и даже некоторые эпизоды шифровать. Эти все записи нужны будут только тебе, наставлял он Аврутина, тебе придется стать не только актером, но и режиссером, и директором этого сумасшедшего театра.

И неожиданно это почти немислимое предприятие стало обрастать реальностью. Во-первых, идею поддержал главврач, Аврутин по совету того же Ивана Анисимовича решил не делать тайны из своего замысла. Будь что будет. Запретит, так запретит. Аврутин угадал день, когда главврач был в хорошем расположении духа, сумел подловить его в коридоре, начал с благодарностей, рассказывая, что лечение идет на пользу, чувствует себя хорошо. Такс, такс,

поддакивал главврач, я ведь обещал вам молодой человек, что все сделаем для вашей пользы. Главврач даже разрешил пройти с ним в свой кабинет, где уселся в глубокое кожаное кресло и стал цедить какой-то напиток из узкой колбы, становясь все добрее по мере опустошения этой колбы. Рассказ о театре он выслушал с интересом. Даже хлопнул в ладоши. И воскликнул: это что-то новенькое, и Фрейд не снилось! Терапия вхождением в другой мир. Положим, больной вообразил себя Наполеоном, а вы даёте ему роль Кутузова. Образ вытесняется. Возможно излечение. Bravo, Аврутин!

Наверное, главврачу увиделась дальняя перспектива, может быть даже докторская диссертация, потому что он вынул из шкафа толстую тетрадь и попросил записывать туда все репетиции и реакцию будущих артистов, начиная с самого первого дня, начиная с кастинга, то бишь подбора больных на определённые роли. Одно условие, Аврутин, в пьесе не должно быть ничего антисоветского, и узнав, что пьеса историческая, об очень давних событиях, об основании Кёнигсберга, окончательно успокоился. И Аврутин, осмелев, спросил, нет ли списанных белых халатов, нужны белые плащи для рыцарей. И главврач обещал выдать халаты.

Иван Анисимович искренне обрадовался такому развороту событий. Два вечера просидели с ним, прикидывая кому и какую роль можно поручить. Верховного магистра Германа фон Зальца взял на себя Иван Анисимович, король был за Аврутиным. Великого магистра Поппо фон Остерна решили предложить сыграть профессору, хуже было со жрицей, санитарок в это дело ввязывать не разрешил главврач, по сему решили переодеть в женское платье художника. Конечно, он не смог бы заменить такую жрицу, какую сыграла Эвелина, но было в его лице нечто женское, округлое.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.